

**РОБЕРТ
СТИВЕНСОН**

СЕНТ-ИВ

Роберт Льюис Стивенсон

Сент-Ив

«Public Domain»

1897

Стивенсон Р.

Сент-Ив / Р. Стивенсон — «Public Domain», 1897

«В мае 1813 г. я имел несчастье попасть во вражеские руки. Благодаря знанию английского языка на меня возложили тяжелую обязанность, и это было причиной моих бед. Хотя, мне кажется, солдат не может отказаться от даваемых ему поручений, не имеет права стараться отделаться от той или другой опасности, – быть повешенным за шпионство дело далеко не привлекательное, и я вздохнул с облегчением, когда сделался военнопленным. Меня поместили в Эдинбургскую крепость, которая стоит на крутой скале. Туда же заключили несколько сотен таких же несчастных пленников, как я, таких же рядовых солдат. Почти все они были людьми простыми и невежественными...»

© Стивенсон Р., 1897

© Public Domain, 1897

Содержание

Глава I	6
Глава II	14
Глава III	18
Глава IV	24
Глава V	29
Глава VI	34
Глава VII	40
Глава VIII	44
Глава IX	48
Глава X	55
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Роберт Стивенсон

Сент-Ив

St. Ives: Being The Adventures of a French Prisoner in England. 1897

* * *

Глава I

Ползущий Лев

В мае 1813 г. я имел несчастье попасть во вражеские руки. Благодаря знанию английского языка на меня возложили тяжелую обязанность, и это было причиной моих бед. Хотя, мне кажется, солдат не может отказаться от даваемых ему поручений, не имеет права стараться отделаться от той или другой опасности, – быть повешенным за шпионство дело далеко не привлекательное, и я вздохнул с облегчением, когда сделался военнопленным. Меня поместили в Эдинбургскую крепость, которая стоит на крутой скале. Туда же заключили несколько сотен таких же несчастных пленников, как я, таких же рядовых солдат. Почти все они были людьми простыми и невежественными.

Знание английского языка, вовлекшее меня в беду, теперь помогало мне переносить мое положение. Я пользовался множеством преимуществ. Нередко меня заставляли играть роль переводчика, передавать приказания или жалобы, и таким образом у меня завязывались сношения с дежурными офицерами, иногда шуточные, иногда почти дружеские. Один молодой лейтенант предложил мне играть с ним в шахматы; я был очень искусным игроком и, конечно, согласился; мой противник угощал меня превосходными сигарами. Майор, батальонный командир, брал у меня уроки французского языка, и так как я приходил к нему в то время, когда он завтракал, мой ученик бывал иногда так любезен, что предлагал мне закусить вместе с ним. Этот майор Чевеникс был резок как тамбур-мажор и себялюбив как англичанин, но он учился добросовестно и отличался крайней прямоотой и справедливостью. Мне и в ум не приходило, что его шомполообразная фигура и застывшее лицо станут преградой для исполнения моих самых задушевных желаний; что благодаря этому точному, исполнительному, холодному как лед и пропитанному духом солдатчины человеку, все мое счастье окажется на краю гибели. Он мне не нравился, однако я верил ему и, хотя это может показаться мелочью, всегда радовался, видя его табакерку с душистым бобом внутри.

Странно, до чего взрослые люди и опытные солдаты способны снова делаться детьми. Пробыв очень недолгое время в тюрьме (которая больше всего напоминает детскую), они погружаются в самые жалкие ребяческие интересы, и сладкий бисквит или щепотка табаку превращаются для них в предметы, о которых они мечтают, о которых вспоминают с удовольствием!

Мы, пленники, оставшиеся в замке, представляли собою довольно жалкое зрелище. Нашим офицерам предложили уехать из крепости на честное слово; они этим воспользовались и почти все поселились в предместьях города, в скромных семействах. Пленные офицеры пользовались свободой, стараясь насколько возможно спокойнее выслушивать постоянно приходившие дурные вести об императоре.

Благодаря случайности, я был единственным дворянином между оставшимися в замке рядовыми солдатами. Большая часть моих товарищей по заключению состояла из итальянцев, служивших в том полку, который так жестоко пострадал в Каталонии; остальные прежде занимались хлебопашеством, виноделием, рубкой леса и совершенно внезапно, не по доброй воле, покинули мирную жизнь для более благородного военного ремесла. Только одно занятие создавало для всех нас общий интерес: каждый пленник, обладавший некоторой ловкостью пальцев, делал на продажу различные мелкие безделушки и «articles de Paris». В замок ежедневно приходили англичане, чтобы радоваться при виде нашего унижения и отчаяния; впрочем, может быть, лучше предположить, что при взгляде на побежденных врагов они ликовали только от сознания своего торжества. Часть посетителей держалась с нами прилично, скромно, выказывая сочувствие к нам; часть поступала с нами самым оскорбительным образом: эти люди гла-

зели на нас, точно на обезьян, и, вероятно, считая, что французы какие-то дикари, старались обратить нас в свою грубую скверную религию; некоторые из приходивших к нам англичан придумывали иное мучение: рассказывали нам о неудачах французской армии. Однако, как все эти посетители ни были хороши, плохи или безразличны, одним способом они, во всяком случае, помогали нам легче переносить несносную тяжесть их визитов: почти все приходившие во двор замка покупали наши грубые изделия. Это заставляло пленников стараться, пробуждало в нас чувство соревнования. Одни из моих товарищей были ловки и, благодаря французской способности, могли предлагать покупателям вещицы, бывшие настоящими чудесами изящества и искусства; другие отличались очень привлекательной наружностью; в этом случае покупатели, по-видимому, находили, что красивые черты заменяли достоинства товара; в особенности молодость (пробуждавшая в наших посетителях чувство жалости) была очень доходной статьей. Третьи знали английский язык и благодаря этому были в состоянии особенно хорошо восхвалять свой товар. Первым из этих качеств я не мог похвастаться: мои пальцы отличались страшной неповоротливостью; другими я обладал в известной мере и, находя в нашей коммерции большое удовольствие, пользовался всеми выгодами своего положения. Я никогда не презирал уменя обходиться с людьми, этого искусства, которым хвалится наша нация, говоря, что все французы в совершенстве владеют им. Для каждого рода покупателей у меня был особый язык и манера обращения; я даже до известной степени менял мою внешность в зависимости от того, с кем говорил, и такие перемены не составляли для меня ни малейшего затруднения. Я не пропускал случая польстить посетителю; если это была женщина, я восхищался лично ею; если же со мной говорил мужчина, я упоминал о величии его страны, выказавшемся во время войны. Когда же мои комплименты не попадали в цель, я умел прикрыть свое отступление милой шуткой; за это меня нередко называли «чудаком» или «смешным малым». Таким образом (хотя я был очень неискусным мастером) мне удавалось успешно сбывать мои изделия и получать деньги для покупки тех пустиков, которыми дорожат дети и пленники.

Я описываю не особенно-таки меланхоличного человека. Действительно, я не был склонен к унынию и, сравнивая свое положение с положением моих товарищей, мог быть довольным. Во-первых, я не имел семьи, был бобылем и холостяком; ни жена, ни дети не ожидали меня во Франции. Во-вторых, я не мог забыть тех ощущений, которые пережил в ту минуту, когда попался в плен; ведь, несмотря на то, что военная тюрьма далеко не райский сад, она все же привлекательнее виселицы! В-третьих, я едва смею сознаться в этом, но место нашего заключения до известной степени нравилось мне: это была типичная средневековая крепость, стоявшая на возвышении; из нее открывался вид не только на море, горы и долину, но также и на улицы города, которые днем чернели от толпы народа, а ночью сияли блеском фонарей. Наконец, хотя я и страдал от различных стеснений, от скудости выдававшейся нам пищи, но при этом вспоминал, что и в Испании мне случалось есть не лучше, да вдобавок еще делать переходы миль в двенадцать или около того. Больше всего меня смущал костюм, который мы были обязаны носить. В Англии существует ужасное обыкновение всех, кого можно, наряжать в безобразные формы; ими клеймят не только преступников, но и военнопленных и даже детей – учеников благотворительных школ. Вероятно, один из злых гениев считал своей наиудачнейшей иронической выдумкой ту одежду, которую мы были вынуждены носить: куртку, жилет и панталоны желтого цвета, оттенка серы или горчицы, и бумажную рубашку с синими и белыми полосами. Это была заметная одежда, дешевая одежда, наряд, вызывавший смех. Мы, старые солдаты, привыкшие к оружию, многие, отмеченные благородными шрамами, благодаря этому наряду выставлялись на потеху публики, точно толпа ярмарочных, жалких гаеров. Скала, на которой высилась наша тюрьма, в прежние времена, называлась «Раскрашенной горой» (мне впоследствии сказали об этом) – ну, так теперь, действительно, она была окрашена в желтый цвет нашими костюмами; а так как нас стерегли солдаты в красном, все вместе мы представляли живую картину ада. Я много раз осматривал моих собратьев-пленников, и во мне подни-

малась злоба, а слезы были готовы брызнуть из глаз при виде их шутовских нарядов. Как я уже говорил, моими товарищами по заключению были по большей части крестьяне, немного изменившиеся в лучшую сторону под влиянием экзерцирмейстера, но тем не менее неуклюжие, олуховатые люди, которые могли щегольнуть только казарменным изяществом речи и обращения. Поистине нигде наша армия не являлась в более жалком виде, чем в Эдинбургском замке. Часто я представлял себя со стороны и мучительно краснел. Мне казалось, что моя более благородная осанка и хорошие манеры могли только ярче оттенять всю оскорбительность этого гаерского наряда. И я думал о времени, когда носил грубый, но почетный сюртук солдата, вспоминал и о более отдаленных днях, о том, сколько очарования и наслаждения окружало мое детство... Но я не должен дважды вызывать этих воспоминаний. Я буду говорить о них дальше; теперь же мне предстоит иная задача. Коварство британского правительства особенно ярко выражалось в том обстоятельстве, что нас брили всего два раза в неделю. Что же больше этого могло вызвать раздражение и негодование в человеке, всю жизнь любившем быть выбритым как следует? Бритье производилось по понедельникам и четвергам. Возьмите для примера четверг и вообразите себе, в каком виде я должен был выглядеть к воскресному вечеру. А в субботу, когда наши щеки имели тоже достаточно ужасный вид, к нам являлось особенно много посетителей.

В замок приходили самые различные покупатели и покупательницы – худощавые и полные, безобразные и дивно красивые.

Если бы люди сознавали могущество красоты, они, конечно, молились бы только одной Венере, и я нахожу, что на красивую женщину так приятно смотреть, что, право, стоило бы платить за это удовольствие. Вообще наши посетительницы не могли похвалиться особенной красотой, а между тем, забившись в уголок и стыдясь своего ужасного вида, я время от времени испытывал редкое, тонкое, духовное наслаждение, любуясь глазами, которых мне не суждено было увидеть снова, да которых я даже и не стремился опять увидеть. Взгляд на цветок в поле, на звезду в небе восхищает нас; конечно, еще большее наслаждение должно наполнять нашу душу при виде восхитительного существа, явившегося на свет, чтобы рождать и воспитывать, радовать и сводить с ума род человеческий.

В особенности хороша была одна молоденькая девушка лет восемнадцати-девятнадцати; она была высока, держалась красиво, головку ее украшала густая масса волос, в которых на солнце блестели золотистые нити. Она часто приходила к нам, и я каждый раз угадывал присутствие красавицы, как только она появлялась на нашем дворе. На ее лице лежало выражение ангельской невинности и вместе с тем веселости. Походка девушки вызывала в уме мысль о грации Дианы; всякое ее движение было исполнено свободы и благородства.

Однажды дул сильный восточный ветер. Знамя развевалось на флагштоке; в городе, там, внизу, под нашими ногами дым, выходящий из труб, качался во все стороны, образуя самые разнообразные, прихотливые изгибы. Мы видели, что корабли, дрейфовавшие в гавани, повернулись к ветру. Я раздумывал о том, какой стоит скверный день. Вдруг появилась она. Ветер играл ее волосами, и солнце изменяло их оттенки; платье обрисовывало фигуру красавицы со скульптурной точностью; концы ее шали развязались, разлетелись в разные стороны, поднялись к лицу, но она с поразительной ловкостью снова поймала их. Видали ли вы, как в ненастный день, когда дует порывистый ветер, тихий пруд внезапно начинает искриться и блестеть, делается чем-то живым? Так и лицо этой молодой девушки внезапно оживилось, покраснело. При виде того, как она стояла, немного склонив стан, полуоткрыв губы, с божественным смущением в глазах, я готов был ей заплодировать, провозгласить ее истинной, достойной дочерью ветра.

Не знаю почему (может быть, вследствие того, что это был четверг и я только что побрился), но я решил в этот же день привлечь ее внимание. Молодая девушка подходила к тому месту, где я сидел со своим товаром. Вдруг она уронила свой платок; он упал на землю, и

через мгновение ветер подхватил этот легкий кусочек кембрика и принес его ко мне. Не думая о горчичном цвете моего платья, я вскочил и, забыв, что я рядовой, который обязан отдавать честь по-военному, отвесил красавице низкий поклон.

– Милостивая государыня, – сказал я, – вот ваш платок; ветер принес его ко мне.

При этом я пристально взглянул девушке в глаза.

– Благодарю вас, – ответила она.

– Его принес ко мне ветер, – продолжал я, – разве мне нельзя принять это за предзнаменование? У вас в Англии существует пословица: плох тот ветер, который никому не принесет счастья.

Она улыбнулась и произнесла:

– Услуга за услугу. Покажите мне, что у вас есть.

Я провел молодую девушку к тому месту, где были разложены мои вещицы под защитой пушки.

– Увы, мадемуазель, – сказал я, – я не очень хороший ремесленник. Вот это должно было быть домом, и вы видите, что его трубы сильно покосились. Если вы будете очень снисходительны, то назовете шкатулкой вон ту вещь, но посмотрите, куда скользнул мой резец! Боюсь, что вы, пересмотрев все мои изделия, в каждом из них заметите по недостатку. Мне следовало бы повесить вывеску: «Продажа неудачных произведений». У меня не лавка, а юмористический музей.

Я, улыбаясь, оглядел все мои вещи, потом, став серьезен, прибавил:

– Разве не странно, что взрослый человек, солдат, занимается подобными пустяками, разве не странно, что человек с грустью на сердце может делать такие смешные безделушки?

В эту минуту раздался неприятный голос, который позвал мою собеседницу, назвав ее Флорой. Молодая девушка наскоро купила несколько вещиц и присоединилась к остальному обществу, сопровождавшему ее.

Она снова пришла через несколько дней. Но я прежде всего должен вам объяснить, почему красавица Флора так часто посещала нас. Ее тетка принадлежала к числу тех ужасных английских старых дев, о которых говорилось так много. Делать было старухе нечего, и она знала несколько французских слов, а потому, по ее выражению, заинтересовалась пленными французами. Эта большая, суетливая, смелая старуха расхаживала по нашему рынку с нестерпимо покровительственным и снисходительным видом. Платила она, действительно, очень щедро, но при этом так противно рассматривала нас в лорнет, таким неприятным образом разыгрывала роль чичероне среди своих спутников, что это избавляло нас от обязанности чувствовать к ней благодарность. За старухой обыкновенно следовал целый хвост, состоявший из тяжеловесных почтительных стариков, или тупых хихикавших мисс. Для тех и для других тетка красавицы, по-видимому, казалась оракулом.

– Вот этот может премило резать по дереву. Не правда ли, густые баки придают ему ужасно смешной вид? – говаривала старуха. – А этот, – прибавляла она, указывая на меня своим лорнетом, – уверяю вас, страшный чудак.

Конечно, в такие минуты «чудак» скрежетал зубами. Старуха обыкновенно останавливалась среди нас и обращалась к нам на языке, бывшем, по ее понятиям, французским:

– *Bienne hommes, sa va bienne?* Однажды я ответил ей на том же наречии:

– *Bienne femme, sa va couci-couci tout d'même, la bourgeoise!*¹

Раздался не особенно вежливый хохот. Когда же мы умолкли, старуха произнесла с каким-то торжеством:

– Я ведь предупреждала вас, что он чудак.

¹ Уродуя французский язык, старуха спрашивает: – «Как живае, добрые люди?» – Сент-Ив, в тон ей, отвечает: «Себе, живем помаленьку, тетка».

Не нужно и говорить, что все это происходило раньше, чем я заметил племянницу старухи.

В тот день, о котором я хочу рассказать, тетка пришла с особенно многочисленным обществом, говорила особенно много и была особенно бестактна. Я стоял, не поднимая ресниц, но тем не менее глаза мои все время смотрели в одну сторону – и совершенно напрасно. Тетка расхаживала по двору, показывала нас своим спутникам, точно посаженных в клетки обезьян; Флора же держалась вдалеке, на противоположном конце двора; она не смешивалась с толпой и, наконец, ушла, даже не кивнув мне головой. Я очень пристально смотрел на нее, но не мог бы сказать, взглянула ли она на меня хоть раз или нет. Мое сердце переполнилось горечью и отчаянием; я силился изгнать из воображения ненавистный образ молодой девушки, чувствуя, что навеки покончил с ней; я безумно хохотал над собой при мысли о моем невозможном желании понравиться ей. Ночью я не мог сомкнуть глаз, ворочался и мысленно любовался прелестным образом этой девушки, в то же время проклиная ее бессердечие. И она, и все остальные женщины казались мне такими пустыми, изменными. Будь человек ангелом, Аполлоном, но надень он платье горчичного цвета – они не заметят его достоинств. А чем я был для нее? – пленником, рабом, мишенью для насмешек ее соотечественников, чем-то ничтожным и презренным. Я решил воспользоваться данным мне уроком: ни одна из гордых дочерей моих врагов не будет более иметь возможности посмеяться надо мной, и никто не посмеет сказать, что я когда-нибудь любовался этой бездушной Флорой. Вы не можете себе представить, какое независимое решительное настроение переполняло меня; еще ничья грудь не была окована более непроницаемой броней патриотизма. Перед тем, как заснуть, я вспомнил все низости Британии и в подобающих выражениях высказал их Флоре.

На следующий день я, по обыкновению, сидел на своем месте и вдруг почувствовал, что подле меня кто-то есть. Это была она! В первую секунду я окаменел от неожиданности и смущения; в следующую – принятое мной накануне решение заставило меня не изменить позы. Флора стояла, немного наклонившись надо мной, точно охваченная чувством жалости; она казалась смущенной и некоторое время не произносила ни слова; наконец молодая девушка тихим голосом спросила, очень ли я страдаю в неволе и могу ли жаловаться на суровость обращения тюремщиков.

– Мадемуазель, – ответил я, – солдаты Наполеона не умеют жаловаться.

Она вздохнула.

– Во всяком случае, вы, конечно, тоскуете о Франции, – проговорила Флора и, сказав французское название моей страны, слегка покраснела; произнесла Флора это слово с легким, милым иностранным акцентом.

– Что мне сказать в ответ? – проговорил я. – Если бы вас увезли из этой страны, которая, по-видимому, вполне пригодна для вас, если бы вы были принуждены покинуть Англию с ее дождями и ветрами, которые идут к вам как украшение, жалели бы вы о вашей родине? Как вам кажется? Все мы неминуемо тоскуем! Сын тоскует о матери, человек о родине! Это врожденные, естественные чувства.

– У вас есть мать? – спросила Флора.

– На небесах! – ответил я. – И мать, и отец ушли на небо по той же дороге, как и многие другие прекрасные, честные люди. Они последовали на эшафот за своей королевой. Вы видите, меня следует меньше жалеть, чем других пленников, – продолжал я. – Дома меня никто не ждет, я совершенно одинок на свете. Совсем другое дело вон тот бедняк в войлочной шляпе; он спит рядом со мной, и я слышу, как ночью он рыдает. У него нежная душа, полная хороших, тонких чувств; ночью, в темноте, иногда даже днем, отведя меня в сторонку, он начинает с горем говорить мне о своей матери и милой возлюбленной. И знаете ли вы, что заставило его взять меня в свои поверенные?

Флора взглянула на меня, ее губки полуоткрылись, но она ничего не сказала. Взгляд девушки обжег меня; по всему моему существу разлилась жизненная теплота. Я продолжал:

– Потому, что однажды, во время военного перехода, я видел колокольню церкви его села. Конечно, это довольно странная причина для симпатии, но она относится к одной категории с теми человеческими инстинктами, которые придают жизни прелесть, делают дорогими нам людей и места... те места, от которых я отрезан.

Я оперся подбородком о колено и опустил глаза. До сих пор я разговаривал с Флорой, желая удержать ее подле себя; теперь же я ничего не имел против того, чтобы она ушла. Нужно очень осторожно обращаться с произведенным впечатлением, а в данном случае перейти за необходимую границу было крайне легко. Флора сделала над собой усилие и произнесла:

– Я возьму вот эту вещицу. – Положив мне в руку монеты в пять шиллингов и пять пенсов, девушка ушла так быстро, что я не успел поблагодарить ее.

Я отошел к укреплениям и стал за пушку. Красота и выразительность глаз Флоры, слезы, дрожавшие в них, выражение сострадания в ее голосе и какая-то дикая грация, придававшая особую прелесть ее свободным движениям, – все вместе приковывало мое воображение к ее прелестному образу, зажигало в сердце огонь. Что она сказала? Ничего особенно значительного, но ее глаза встретились с моими, и тот огонь, который зажгли они, теперь пылал в моих жилах. Я любил ее и надеялся привлечь ее внимание. Мне дважды случилось говорить с нею, и оба раза я говорил удачно, успев вызвать ее сочувствие. Я нашел такие слова, которые она, конечно, запомнила, которые ночью будут звучать у нее в ушах. Что за беда, что я плохо побрит, что на мне карикатурное одеяние? Я все еще человек, мужчина, и сумел запечатлеть свой образ в ее душе. Да, я был мужчиной и с трепетом думал о том, что она женщина! Трудно потушить любовь, а любовь, составляющая закон природы, была на моей стороне. Я закрыл глаза, и вот на темном фоне вырисовывался ее образ, но еще более прекрасный, чем в действительности.

«О, – подумал я, – ты тоже унесла с собой мой образ; ты тоже будешь смотреть на него так же, как я, украшая его своим воображением. В темноте ночи, днем на улицах, ты будешь видеть мое лицо, слышать мой голос, шепчущий тебе слова любви, захватывающий твое застенчивое пугливое сердечко. Да, твое сердце застенчиво и пугливо, но оно занято. Я занял его. Пусть же время делает свое дело, пусть оно рисует тебе мой образ, все живее, все жизненнее, все более и более лукавыми красками»... Вдруг я мысленно ясно увидел себя и горько расхохотался.

– Нечего сказать, очень вероятно, чтобы нищий рядовой, пленник в шутовском наряде заинтересовал прелестную девушку!

Я не пришел в уныние, но решил тонко и осторожно вести мою игру: являться Флоре или в способном ее тронуть виде, или говоря с ней легким, шутовым тоном; никогда не пугать и не изумлять ее, скрывать мою тайну как позор, стараясь в то же время разузнать ее историю (если станет ясно, что у нее есть история); действовать сообразно с проявляемой ею симпатией, не спеша, но и не медля. Тюрьма отнимала у меня свободу, заставляла оставаться в пассивной роли. Я не мог бывать у Флоры, поэтому мне следовало при каждом свидании с молодой девушкой окружать ее сетью очарования, чтобы ей, уходя, хотелось снова вернуться ко мне. Я должен был придумывать умные и тонкие средства нравиться ей. В последний раз я вел себя отлично; после нашего разговора Флора не могла не прийти снова. Для следующего свидания с ней я придумал нечто другое. Если пленнику многое мешает успешно вести свои любовные дела, его положение все же имеет одну выгоду, а именно: ничто не развлекает его, и он может все время думать о своей любви, изобретая различные способы выразить ее. Несколько дней я занимался тем, что усердно старался вырезать из дерева ни более ни менее как эмблему Шотландии – ползущего льва. На это дело я употребил все мое искусство. Когда лев был вполне закончен (право, я сожалел, что вырезал его!), я прибавил на пьедестале следующее посвящение:

A la belle Flora le prisonnier reconnaissant A. d. St. Y. d. K.

Прелестной Флоре признательный пленник. А-де-С.-И.-де-К.

Я вложил все сердце в мое дело, стараясь вырезать буквы как можно лучше. Мне казалось едва ли возможным, чтобы кто-нибудь равнодушно посмотрел на то, что было создано с таким увлечением, с таким жаром; инициалы должны были пробудить в Флоре мысль о благородстве моего происхождения. Мне казалось, что лучше, если она догадается об этом. Я чувствовал, что некоторая таинственность могла послужить мне на пользу. Несоответствие между моим положением и манерами, способом выражаться и костюмом, вместе с вырезанными буквами, думалось мне, привлечет ее внимание, заставит заинтересоваться мною, займет ее сердце.

Работа моя была окончена. Мне оставалось только ждать и надеяться. Подобное поведение совсем не в моем характере. В любви и войне я всегда любил наступательную, энергичскую тактику. Я прожил эти дни, как в чистилище, и в конце их любил Флору гораздо сильнее, чем прежде. Ведь любовь, как хлеб, продукт переработки. Временами меня охватывал панический страх: вдруг она не придет больше? Хватит ли у меня силы переживать ничем не наполненные дни? Неужели я буду в состоянии существовать, как до встречи с ней, находя единственный интерес жизни в уроках майору, в игре в шахматы с лейтенантом, в продаже на два пенни или в прибавке к обыкновенной порции пищи на полпенни?

Дни проходили за днями, недели за неделями. Тогда я не имел мужества считать время, а теперь мне даже страшно вспоминать об этом промежутке моей жизни в плену; однако, наконец, Флора пришла. Она продвигалась ко мне с мальчиком приблизительно ее лет; я сразу догадался, что они брат и сестра.

Я встал и молча поклонился.

– Вот мой брат, мистер Рональд Гилькрист, – проговорила девушка. – Я рассказала ему о ваших страданиях, он очень сочувствует вам.

– Я не имел права надеяться на такую доброту. Но между людьми образованными подобные чувства естественны. Встретившись с вашим братом на поле сражения, мы дрались бы как тигры, но он видит, что я обезоружен, беспомощен, и забывает свою вражду (при этом, как я и ожидал, юный безбородый воитель покраснел до ушей от удовольствия).

Я продолжал:

– Да, много ваших соотечественников также томится в моей стране, и я могу только надеяться, что какая-либо благородная француженка принесит им несравненное утешение. Вы давали мне милостыню и нечто большее – надежду. Долгое время я не видел вас, но не забыл вашей доброты. Позвольте мне показать вам, что я, по крайней мере, сделал слабую попытку чем-нибудь отблагодарить вас. Соболаговолите принять от пленника маленькую безделушку.

С этими словами я подал ей моего льва; она взяла его, немного смущенным взглядом посмотрела на него, потом, увидав надпись, вскрикнула:

– Откуда вы знаете мое имя?

– Не трудно угадать имя, если оно идет к человеку, который его носит, – проговорил я, кланяясь. – Однако в данном случае в дело не замешано волшебство. В тот день, когда я поднял ваш платок, какая-то дама позвала вас, и я сейчас же запомнил ваше очаровательное имя.

– Это прелестная вещь. Всю жизнь я буду гордиться надписью, сделанной на ней. Ну, Рональд, мы пойдем.

Флора поклонилась мне, как женщины кланяются равным себе, и пошла прочь с покрасневшими щеками.

Душу мою переполняла радость; моя невинная хитрость удалась. Флора взяла мой подарок, даже не подумав заплатить за него. Вряд ли она могла успокоиться, не отблагодарив меня за него какой-нибудь вещицей! Я не был новичком в любви, а потому знал, что, кроме всего, теперь при дворе моей королевы у меня был посланник. Может быть, я плохо вырезал льва, но мои руки делали, держали его; мой нож или, вернее, гвоздь наметил буквы надписи. Я знал,

что как ни были просты слова, начертанные на пьедестале, они теперь твердили девушке, что я благодарен ей и нашел ее красивой.

Мальчик смотрел на меня с выражением лица дурачка и покраснел, услышав мой комплимент; я заметил также, что на его лице лежал отпечаток недоверия ко мне, однако он держался с мальчишеским достоинством, и я не мог отнестись к нему без симпатии. Что же касается того побуждения, которое заставило Флору привести брата с собой и представить его мне, я был от него в восторге. Мне казалось оно необычайно умным, тонким и более нежным, нежели ласка. Поступок Флоры говорил совершенно ясно: «Я с вами не знакома и не могу вас знать; вот мой брат, вы можете быть знакомы с ним; я указала вам дорогу, идите по ней».

Глава II

Ножницы

Я все еще был погружен в эти мысли, когда раздался звук колокола, дававший сигнал посетителям уходить прочь. Когда наш маленький рынок закрывался, нас приглашали получать порции отпускаяшейся нам еды; съесть обед мы могли в том месте, где желали.

Как я уже говорил, поведение многих из посетителей рынка бывало иногда невыносимо оскорбительно; очень возможно, что они сами не понимали, как обижали нас; так зрители, стоящие перед клеткой несчастного и благородного зверя, без намерения оскорбляют его всяческими способами. Почти все мои товарищи по заключению имели право чувствовать себя оскорбленными. Старые усачи крестьянского происхождения с отрочества воспитывались в рядах победоносной армии, и большинство солдат Наполеона плохо мирилось с переменой своего положения. Между пленниками был один страшно грубый, неотесанный человек, по имени Гогела; его не научили ничему, кроме военной дисциплины, и только благодаря отчаянной храбрости он занял место, в других отношениях не годившееся для него, а именно место квартирмейстера двадцать второго пограничного полка. Насколько невежественный, грубый человек может быть хорошим воином, он был хорошим солдатом; на груди Гогелы красовался крест, вполне заслуженный им, но во всех случаях, выходявших за пределы его прямой обязанности, он оказывался крикливым, грубым, невежественным драчуном, ревностным посетителем питейного заведения самого плохого разбора. Я был дворянином по происхождению, образованным человеком; он же ненавидел такой тип людей и совершенно не понимал его; поэтому я не пользовался его любовью. Появление посетителей на нашем дворе всегда страшно раздражало его, и он спешил сорвать свою злобу на первом встречном; дурное расположение духа Гогелы слишком часто вымещалось на мне.

Так было и теперь. Получив свою порцию, я отошел в угол двора и вдруг заметил, что Гогела направляется ко мне. На его лице была противная улыбка; несколько молодых глупцов, слывших шутниками, шли за ним, по-видимому, ожидая чего-то; я понял, что он снова избрал меня предметом какой-то нестерпимой шутки. Гогела сел рядом со мной, разложил свое кушанье, насмешливо выпил за мое здоровье пива из порционной кружечки, и издевательство началось. Невозможно было бы напечатать, что говорил Гогела; его почитатели, полагавшие, что они должны превзойти даже его, буквально покатывались со смеху. В первое мгновение мне показалось, что я умру. Я не предполагал, чтобы этот негодяй был так наблюдателен. Видно, ненависть придает остроту зрению и слуху. Гогела знал, сколько раз мы виделись с Флорой, знал ее имя. Мало-помалу я овладел собой, но во мне горела такая злоба, что я сам удивлялся силе ее.

– Скоро вы закончите? – спросил я. – Потому что мне самому нужно сказать вам два слова.

– Прекрасно! – проговорил Гогела. – Внимание, маркиз Карабас всходит на трибуну!

– Слушайте же, – произнес я. – Мне нужно заявить вам, что я дворянин. Вы не понимаете, что это значит. Да? Ну, так я объясню вам. Дворянин – это пресмешной зверь, который происходит от целого ряда других зверей, называемых предками. Как жабы и другие гады, зверь этот обладает тем, что он называет чувством. Я дворянин и потому не желаю пачкать руки о такой ком грязи, как вы... Сидите и молчите, Филипп Гогела, сидите и молчите, или я буду иметь право сказать, что вы трус, на нас смотрят часовые. За ваше здоровье! – сказал я и выпил пиво. – Вы говорили дурно о молоденькой девушке, почти ребенке, о существе, которое могло бы быть вашей дочерью! Она приходила сюда, чтобы раздавать милостыню нам, нищим. Если бы император (я отдал честь) слышал, как вы говорили, он сорвал бы крест с вашей грубой

груди. Я не могу сделать этого, я не могу взять то, что было пожаловано его величеством, но я вам обещаю одно, Гогела, а именно, что сегодня ночью вы умрете!

Я столько выносил уже от него, что, мне кажется, он предполагал, будто моему терпению нет предела. С удовольствием думаю, что некоторые из моих выражений проняли его. Кроме того, следует заметить, что этот грубый человек был настоящим героем; он любил битвы, любил борьбу. Что бы там ни было, но Гогела скоро овладел собой и, надо отдать ему справедливость, с большим достоинством отнесся к моему вызову.

– Клянусь рогами дьявола доставить вам прекрасный случай для этого! – проговорил Гогела в ответ на мои слова и снова выпил за мое здоровье. Опять я по совести нашел, что он держал себя прекрасно.

Известие о том, что мы будем драться, облетело всех пленников с поразительной быстротой. Все лица оживились, приняв выражение, которое обыкновенно является в чертах людей, присутствующих на лошадиных скачках. Чтобы понять и даже, может быть, извинить удовольствие наших товарищей, нужно отведавать деятельной военной жизни, а потом некоторое время проскучать в тюремном заключении. Мы с Гогелой спали в одном и том же сарае, и это значительно упростило дело; свидетелей мы выбрали тоже из товарищей, спавших вместе с нами; комитет свидетелей назначил своим председателем вахмистра четвертого драгунского полка, ветерана армии, превосходного солдата и хорошего человека. Он очень серьезно отнесся к своей обязанности, побывал у меня и у Гогелы и передал комитету наши замечания. Я говорил с ним с должной твердостью; рассказал, как Гогела отзывался о молодой девушке, которая много раз подавала мне милостыню; напомнил ему, что солдаты Наполеона впервые протягивали руки, предлагая купить у них из милости разные безделушки; сказал я ему также, что все мы видали бродяг, выманивавших у проезжих медные монетки и потом осыпавших своих благодетелей за глаза бранью и проклятиями.

– Но, – прибавил я, – мне кажется, что никто из нас не упадет так низко. Как француз и солдат, я считаю своим долгом чувствовать благодарность к этому юному созданию, считаю своей обязанностью защитить добрую славу молодой девушки и поддержать репутацию армии. Вы старше меня, вы мой начальник, скажите мне, разве я не прав?

У старика были спокойные манеры. Он похлопал меня по плечу и сказал: «C'est bien, mon enfant»², потом вернулся в комитет.

Гогела оказался тоже очень неуступчивым.

– Я не люблю извинений и не люблю людей, которые извиняются, – просто сказал он в ответ.

Оставалось лишь позаботиться о всех подробностях дуэли. Относительно времени и места у нас не было выбора; мы могли драться только ночью, в темноте и в незагроможденной открытой части нашего сарая. Затруднительнее казался вопрос об оружии. Правда, у нас было много инструментов, которые мы употребляли для резьбы, но ни один из них не годился для поединка между цивилизованными людьми и, так как они отличались большим разнообразием, то уравновесить шансы противников в этом случае было бы мудрено! Наконец мы развили ножницы; где-то в углу нашли пару крепких, гибких палок и посредством просмоленной бечевки прикрепили к каждой из них по лезвию. Я не знаю, откуда взялась бечевка, смолу же мы собрали со свежих деревянных подпорок, поддерживавших крышу навеса. Странно было держать в руке оружие такое же легкое, как обыкновенный хлыст, оружие, казавшееся не более опасным, чем хлыст.

Наши товарищи поклялись не вмешиваться в дуэль; все они, а также и мы с Гогелой, дали священное слово, что (если дело примет серьезный оборот) никто из нас не выдаст имени

² хорошо, дитя мое.

оставшегося в живых противника. Приготовления окончились; нам оставалось лишь ждать решительной минуты.

Настал вечер. Когда первый сторожевой патруль миновал нас и отправился осматривать укрепления, на небе, покрытом облаками, не сияло ни одной звезды. Не смотря на шум, доносившийся из города, мы слышали возгласы часовых и по ним могли следить за караульным отрядом. Наконец старик Лекло, вахмистр, поставил нас с Гогелой на места, скрестил наши палки, потом отошел в сторону. Мы боялись, что кровавые пятна на платье выдадут нас, а потому сняли с себя решительно все, кроме башмаков. Ночной холод обнимал обнаженное тело, точно мокрая пелена. Гогела фехтовал лучше, чем я, он был выше меня, так как отличался почти исполинским ростом, сила его соответствовала телосложению. Среди полной тьмы я не мог рассмотреть даже глаз моего противника. Наши прутья были так тонки и гибки, что мне казалось, было бы неудобно отпарировать удары. Поэтому я решил воспользоваться своим невыгодным положением и сразу бросился наземь, в то же время нанеся моей импровизированной рапирой сильный удар Гогеле. Таким образом я ставил на карту жизнь: не ранив смертельно противника, я в этом случае остался бы без малейшей защиты и, что было еще серьезнее, бросившись вниз, рисковал попасть лицом на лезвие Гогелы, причем наши два движения встретились бы и его лезвие врезалось бы мне в лицо с двойной силой; между тем, говоря правду, я не совсем равнодушно относился к целостности моего лица и глаз.

– Allez!³ – скомандовал Лекло.

Мы бросились друг на друга в одно и то же мгновение с одинаковой яростью и, если бы не моя уловка, мы оба, конечно, были бы проколоты насквозь. Теперь же удар Гогелы скользнул по моему плечу; мое же лезвие ножниц вонзилось в его тело ниже пояса и нанесло ему смертельную рану. Громадный человек упал и так ушиб меня при своем падении, что я потерял сознание.

Я пришел в себя, лежа на моем обычном месте; в темноте вырисовывались контуры множества голов людей, теснившихся вокруг меня. Я сел:

– Что случилось? – вскрикнул я.

– Молчите, – проговорил вахмистр. – Слава Богу, все хорошо. – Он взял меня за руку; в его голосе дрожали слезы. – Вы только оцарапаны, мой милый. У вас есть папа, который заботится о вас; мы перевязали рану на вашем плече, одели вас, и все будет хорошо.

При этих словах я начал припоминать случившееся.

– А Гогела? – задыхаясь проговорил я.

– Его невозможно тронуть с места. Он не выносит ни малейшего прикосновения; Гогела ранен в живот, это плохое дело.

Мысль о том, что я убил человека – убил половинкой ножниц – заставила меня содрогнуться. Я уверен, что мог бы застрелить с полдюжины людей, или убить их саблём, штыком, еще каким-либо иным общепринятым оружием, не почувствовав такого раскаяния. Казалось, все увеличивало это ужасное чувство: и темнота, в которой мы дрались, и наша нагота, даже запах смолы, пропитывавшей бечевки! Я бросился к моему сраженному противнику, упал на колени подле него и мог только с горьким рыданием произнести его имя.

Он попросил меня успокоиться и прибавил:

– Вы освободили меня, товарищ; sans rancune⁴.

Мой ужас и отчаяние удвоились в эту минуту. Мы два француза, вдали от родины, в плену, вышли на поединок совершенно неправильный и дрались точно дикие звери... Передо мной лежал человек, бывший всю жизнь грубым, жестоким созданием и умирал на чужбине

³ Начинайте.

⁴ Не будем помнить зла.

вследствие этого преступного поединка, ожидая смерти почти с благородством Баярда. Я просил позвать стражу, привести доктора, настаивал на этом.

– Может быть, его еще спасут! – кричал я.

Вахмистр напомнил нам о нашем обязательстве молчать.

– Если бы вы были ранены, вам бы пришлось лежать здесь до прихода патруля. Ранен Гогела – значит, ему следует терпеть. Пойдемте, дитя мое, пора нам. – Я все еще противился. Тогда Лекло сказал: – Шамдивер, это же слабость! Вы огорчаете меня.

– Ну, в постели! – сказал Гогела и назвал нас одним из своих обычных веселых и грубых эпитетов.

Наша партия лежала в темноте, все притворялись спящими; в действительности же, конечно, сон был далек от пленников, помещавшихся в сарае «Б». Стоял еще не поздний час ночи; снизу из города доносился грохот колес, шум шагов, голоса. Пелена облаков разорвалась; в промежутке неба, видневшемся между застрехой навеса и неправильной линией контура укреплений, появилось множество звезд. Близ нас лежал Гогела и иногда не мог удержаться от стога.

Мы издали услышали шаги патруля; было слышно, как он медленно подходил к нам. Наконец сторожевой отряд повернул за угол; теперь мы могли его видеть, шла двойная линия людей; капрал нес в руке фонарь, он светил им в разные стороны, чтобы иметь возможность осмотреть все дальние углы дворики и сараев.

– Э! – крикнул капрал, очутившись подле Гогелы.

Капрал остановился. В каждом из нас замерло сердце.

– Какой черт сделал это! – вскрикнул он и громовым голосом позвал стражу.

В то же мгновение все мы вскочили. Перед сараем столпились еще другие солдаты с фонарями; вперед протолкался офицер. Посреди собравшегося множества людей лежало большое, нагое, окровавленное тело. Кто-то, лишь только Гогела был ранен, накинул на него свое одеяло, но несчастный испытывал такие муки, что почти совершенно сбросил его с себя.

– Это убийство, – крикнул офицер. – Эй вы, дикие звери, вы услышите завтра кое-что об этом!

Когда Гогелу подняли и положили на носилки, он крикнул нам на прощание несколько веселых слов.

Глава III

В рассказе появляется майор Чевеникс, а Гогела исчезает с его страниц

О выздоровлении Гогелы даже не было речи; поэтому начальство, не теряя времени, допросило раненого. Он дал только одно показание: ему надоело видеть такое множество англичан, и он сам сделал это. Доктор стал уверять, что нанести самому себе рану, имеющую такой характер и направление – невозможно. На это Гогела возразил, что он остроумнее, чем все предполагают, что он воткнул оружие в землю и бросился на него, «совершенно как Навуходоносор», прибавил умиравший, подмигивая присутствовавшим при этой сцене. Доктор, маленький, щеголеватый, румяный человечек нетерпеливого характера, сердился и горячился, бранил и клял своего пациента.

– Ничего с ним нельзя сделать! – кричал он. – Чистый язычник! Надо бы найти его оружие!

Но оружия уже не существовало; только в желобе замка валялась просмоленная бечевка, да куски палок лежали в укромном уголке, а утром можно было видеть, как, наслаждаясь свежим воздухом, щеголь-пленник подстригал ножницами свои ногти.

Увидав, что раненый непоколебимо тверд, власти обратились к нам. Перевернули все до последнего камня. Нас множество раз призывали к допросу, то поодиночке, то по двое, то по трое. Нам грозили невозможными жестокостями, соблазняли невероятными наградами. Кажется, меня допрашивали раз пять, и я каждый раз возвращался назад, чувствуя, что с моего лица сбежали все краски. Я, как старик Суворов, не допускаю, чтобы вопрос мог поставить солдата в тупик; мне кажется, воин должен отвечать так же, как идет в огонь – весело и не задумываясь. Часто мне недоставало хлеба, золота, и т. д., но у меня всегда находился готовый ответ. Может быть, мои товарищи не могли говорить с такой свободой, зато у них было не меньше твердости и упорства, чем у меня. Я могу сказать, что это следствие не привело ни к чему, что смерть Гогелы осталась тюремной тайной. Таковы-то французские ветераны! Однако я не буду лукавить и замечу, что совершенно особые обстоятельства сопровождали то, что происходило; может быть, при обыкновенных условиях кто-нибудь из пленников запнулся бы, или, вследствие запугивания, проговорился бы. Между нами существовали узы, связывавшие нас гораздо теснее, нежели те, которые обыкновенно соединяют товарищей: все мы хранили одну общую тайну, все питали одинаковое намерение. Нечего даже спрашивать, какого рода тайна, какого рода намерения занимали нас: только одни желания, один род стремлений и расцветают в тюрьмах. Наш подкоп был почти готов, и это поддерживало и вдохновляло нас.

Когда допрос кончился, я, как уже было сказано, чувствовал, что на моем лице то вспыхивает, то пропадает румянец. Следственные заседания остались позади, исчезли в прошлом, точно звук, которого никто не слушает, а между тем с меня сорвали маску (с меня, которого так хорошо защищал мой противник!), и сняли таким окончательным образом, точно я сам признался во всем, точно я рассказал о причине нашей ссоры с Гогелой. Это обстоятельство подготовило для меня в будущем очень тревожное, неприятное приключение. На третье утро после дуэли, когда Гогела был еще жив, мне пришлось идти давать урок майору Чевениксу. Я любил это занятие не потому, что оно давало мне большой доход (майор платил мне всего восемнадцать пенсов в месяц: он был в глубине души скрягой), но мне нравились завтраки Чевеникса и, до известной степени, он сам. Майор был, по крайней мере, воспитанным человеком; а те люди, с которыми мне случалось говорить, – если не держали книг ногами вверх, то вырывали из них листки, чтобы раскуривать свои трубки. Я должен повторить, что состав наших пленников был исключительным. В Эдинбургском замке узникам не старались дать образования, как

это делалось в некоторых других тюрьмах, из которых люди, вошедшие в них безграмотными, выходили на свободу способными занять высокие должности. Лицо Чевеникса с правильными чертами и светлыми серыми глазами было очень красиво; майор казался поразительно молодым для своего чина. В его наружности никто не мог бы подметить какого-нибудь недостатка, а между тем общий его вид производил неприятное впечатление. Может быть, Чевеникс поражал уж чересчур большой опрятностью; казалось, что он повсюду вносил с собою запах мыла. Опрятность вещь хорошая, но я не выношу, когда мне кажется, будто у человека ногти покрыты лаком. Кроме того, Чевеникс, конечно, был слишком сдержан и холоден. В этом молодом офицере никогда не проглядывала военная живость. От его доброты веяло холодом, страшным холодом. Рассуждения Чевеникса могли вывести из себя. Может быть, благодаря его характеру, составлявшему полную противоположность моей натуре, я, даже когда он был мне нужен, держался с ним очень сдержанно.

Я взглянул на его упражнение и подчеркнул шесть ошибок.

– Гм! Шесть! – сказал он, рассматривая листок. – Какая досада! Мне все не удастся написать работу как следует.

– Но вы делаете большие успехи! – сказал я.

Вы понимаете, что я не хотел отнимать у майора мужества, но он не был способен научиться французскому языку. Мне кажется, для этого необходим некоторый огонь, а он потушил его в мыльной воде.

Чевеникс опустил свое упражнение, оперся подбородком на руку и взглянул на меня своими светлыми, суровыми глазами.

– Нам нужно поговорить с вами, – сказал Чевеникс.

– Я к вашим услугам, – ответил я с внутренним трепетом, угадывая, о чем пойдет речь.

– Вы занимаетесь со мной уже довольно долгое время, и я склонен хорошо думать о вас.

Мне кажется, вы джентльмен.

– Имею эту честь, – ответил я.

– Вы тоже видали меня в течение того же промежутка времени. Конечно, я не знаю, каким я кажусь вам; но, быть может, вы поверите, что я тоже дорожу честью, – проговорил офицер.

– Мне не нужно никаких уверений; я и так ясно вижу это, – проговорил я с поклоном.

– Ну, так как же было дело относительно этого Гогелы?

– Вчера вы слышали меня на суде, – начал я, – только что я проснулся, как...

– О, да! Я, без сомнения, слышал вас вчера на суде, – прервал он меня, – и отлично помню, что вы «только что проснулись». Я мог бы повторить слово в слово большую часть вашего показания. Но неужели вы думаете, что я хоть одно мгновение верил вам?

– Значит, вы не поверили бы мне, если бы я здесь повторил все, что говорил суду? – произнес я.

– Может быть, я не прав (мы скоро увидим это), – сказал Чевеникс, – но мне кажется, что здесь вы «не повторите всего, что говорили суду». Мне кажется, что, войдя в эту комнату, вы не покинете ее, не сказав мне кое-чего.

Я пожал плечами.

– Позвольте мне выразиться яснее, – продолжал Чевеникс. – Конечно, ваше показание чепуха. И я, и суд поняли это.

– Поздравляю и благодарю! – проговорил я.

– Вы знаете все – это ясно; пленники, спящие в бараке «Б», должны знать, что произошло. Спрашиваю вас: ну, есть ли какой-нибудь смысл продолжать ломать эту комедию и утверждать, что нелепая история – истина, когда с вами только ваш приятель? Ну, ну, милейший, признайтесь, что вы побиты и посмейтесь над самим собой.

– Вы отлично действуете, – заметил я, – вы в это дело вложили всю душу.

Офицер медленным движением скрестил ноги и проговорил:

– Я хорошо понимаю, что в подобных случаях следует принимать предосторожности. Была взята клятва молчать. Я отлично вижу это. (Чевеникс не сводил с меня своих светлых, блестящих, холодных глаз). Мне также кажется естественным, что вы хотите сохранить в строгой тайне все, касающееся этого дела чести.

– Дело чести? – повторил я, как бы изумляясь донельзя.

– Значит, это не было поединком? – спросил майор.

– Что именно? Я не понимаю, – сказал я.

Чевеникс ничем не выразил своей досады; он несколько мгновений помолчал, потом заговорил по-прежнему спокойно и добродушно:

– И суд, и я решили, что ваше показание неправдиво; оно не могло бы обмануть и ребенка! Однако между мной и остальными офицерами существует та разница, что я знаю человека, который дал нам неверное показание, а они нет. Они видят в вас обыкновенного солдата, я же уверен, что вы джентльмен. Для них ваше показание было целой статьей лжи и, слушая его, они зевали; я же спрашивал себя, как далеко может зайти джентльмен? Не будет же он помогать скрывать убийство? Поэтому, услышав, что вы говорите, будто ничего не знаете, будто вас разбудил капрал и так далее, я совершенно иначе объяснил себе ваше показание. Ну, Шамдивер!

Чевеникс живо вскочил и, подойдя ко мне, произнес с жаром:

– Я скажу вам, в чем дело, и вы поможете свершиться правосудию. Каким образом – я еще не знаю, по-тому что, конечно, на вас лежит клятва, но так или иначе вы поможете мне. Запомните все, что я скажу вам.

В это мгновение он тяжело опустил руку на мое плечо и сжал его; не могу вам сказать, продолжал ли он говорить или сразу замолчал, потому что майор тронул меня как раз за то проклятое плечо, которое ранил Гогела. Рана была ничтожной царапиной, она заживала, но прикосновение Чевеникса причинило мне адские мучения. У меня закружилась голова, по лицу покатались капли пота, вероятно, я смертельно побледнел.

Чевеникс снял руку так же быстро, как положил ее.

– Что с вами? – спросил он.

– Пустяки, – ответил я. – Немножко дурно; теперь все прошло.

– Прошло ли? Вы бледны как полотно.

– Право же, все прошло. Теперь я снова вполне оправился, – уверял я, хотя едва мог принудить себя говорить.

– Значит, продолжать? – спросил Чевеникс. – В состоянии ли вы следить за мной?

– Конечно! – ответил я и отер рукавом свое влажное лицо (в это время моей жизни у меня не было носового платка!).

– Если вы уверены, что вы будете в состоянии следить за моими словами, то слушайте меня. Только, – прибавил он с сомнением, – у вас был очень внезапный и острый припадок! Однако если вы говорите, что все прошло, я начну: между вами, пленными, было бы трудно устроить вполне правильную дуэль. Между тем, несмотря на нарушение многих общепринятых форм, несмотря на необыкновенные условия, поединок мог совершиться достаточно честным образом. Вы понимаете меня? Ну, поступите же как джентльмен и солдат.

Рука Чевеникса снова поднялась и покачивалась над моим плечом. Я не выдержал и отшатнулся от него, вскрикнув:

– Только не кладите мне руки на плечо! Я не в силах выносить этого. У меня ревматизм, – поспешно прибавил я, – мое плечо воспалено и очень болит.

Чевеникс снова опустил на прежний стул и спокойно закурил сигару.

– Мне очень жаль, что у вас болит плечо, – наконец проговорил майор. – Не послать ли за доктором?

– Не нужно, – ответил я. – Это – безделица, я привык к боли, она не беспокоит меня; кроме того, я не верю докторам.

– Прекрасно, – заметил майор и стал молча курить.

Все на свете отдал бы я, чтобы только прервать это молчание. Наконец офицер заговорил:

– Ну, мне кажется, я знаю достаточно, полагаю даже, что мне известно решительно все.

– Насчет чего? – смело спросил я.

– Насчет Гогелы, – ответил он.

– Простите, но я не понимаю.

– О, – произнес майор, – этот человек ранен на дуэли и вашей рукой. Я ведь не младенец.

– Без сомнения. Но, мне кажется, вы увлекаетесь теориями.

– Желаете сделать проверку? – спросил Чевеникс. – Доктор недалеко. Если на вашем плече нет открытой раны – я ошибаюсь. Если рана есть... – он помахал рукой. – Но я советую вам подумать, – продолжал Чевеникс. – У этого опыта будет чертовски неприятная сторона для вас, а именно: все то, что осталось бы только между нами двоими, делается тогда достоянием всех.

– Ну, хорошо, – со смехом произнес я. – Мне кажется, все лучше, нежели медицинский осмотр; яне выношу этой породы людей!

Последние слова Чевеникса сильно успокоили меня, но все же я далеко не чувствовал себя в безопасности.

Майор курил, посматривая то на пепел своей сигары, то на меня.

– Я сам солдат, – заговорил он, – и в свое время сам пережил нечто подобное, ранив противника. Я не желаю ставить в безвыходное положение кого-нибудь из-за дуэли, хотя она, быть может, и не была необходимостью и совершалась не по всем правилам. В то же время мне крайне нужно знать решительно все, и я желаю, чтобы вы скрепили мои догадки вашим честным словом. В противном случае мне, к моему большому огорчению, придется послать за доктором.

– Я ничего не отрицаю и не утверждаю, – возразил я. – Однако, если вы удовлетворены моим заявлением, я вам скажу следующее: даю честное слово джентльмена и солдата, что между нами, пленниками, не произошло ничего такого, что не было бы вполне честно.

– Отлично, – сказал он. – Я только этого и желал. Теперь вы можете идти, Шамдивер.

Когда я подошел к двери, Чевеникс прибавил со смехом:

– Во всяком случае, мне следует извиниться перед вами: я и не подозревал, что подвергаю вас пытке.

В тот же день на наш двор пришел доктор с листом бумаги в руках. По-видимому, ему было очень жарко; он казался рассерженным и, очевидно, не заботился о том, чтобы говорить вежливым образом.

– Эй, – крикнул он, – кто из вас немного знает по-английски? О, – прибавил он, всматриваясь в меня, – вы – как бишь вас зовут – вы пригодитесь мне. Скажите этим молодцам, что тот умирает. Его песня спета, нечего и говорить; я ожидаю, что он умрет к вечеру. Скажите же им, что я не завидую тому из них, кто проколол его. Прежде всего переведите им это.

Я исполнил приказание доктора.

– Теперь, – продолжал маленький человек, – передайте им, что этот Гогель, или как там его зовут, желает повидаться с некоторыми из них перед отправлением на тот свет. Если я правильно понял его, то он стремится обнять своих ближайших друзей, словом, развел там всякую кислятину. Поняли? Вот список, который он написал; лучше всего, прочтите его вслух сами; я не в состоянии выговорить ни одного слога из ваших чертовских фамилий. Услышав свое имя, каждый должен ответить: «здесь» и отойти вот к этой стене.

С самыми разнообразными чувствами в душе прочел я первое имя списка. Мне очень не хотелось смотреть на страшное дело моих рук; при одной мысли об этом все мое существо

содрогалось. А как еще Гогела примет меня? Я мог избавиться от этого свидания, пропустив первое имя в списке; доктор ничего не узнал бы, и я не пошел бы к Гогеле. Впоследствии я с удовольствием вспоминал, что, ни на мгновение не останавливаясь на этой мысли, я подошел к указанной стене, повернулся, прочел имя Шамдивер и сам же ответил: «здесь».

В списке стояло с полдюжины фамилий; я прочел их. Когда переключка окончилась, доктор повел нас к госпиталю; мы шли за ним гуськом, в одну линию. У дверей остановился маленький человечек и сказал, что нас будут пускать к этому «малому» поодиночке; когда я перевел товарищам его слова, он сейчас же послал меня в госпитальную камеру. Я очутился в маленькой, чистой, белой комнатке; окно, выходящее на юг, стояло открытым и перед ним расстилалась громадная воздушная бездна, виднелась даль; снизу, из рынка «Грассмаркет», доносились громкие, звонкие голоса разносчиков. Подле окна на маленькой постели лежал Гогела. С лица умиравшего еще не успел сойти загар, а между тем на его чертах уже лежал отпечаток смерти. Что-то дикое, нечеловеческое было в улыбке, которой он встретил меня; мое горло судорожно сжалось, когда я увидел выражение его лица. Только смерть и любовь могут придавать чертам людей такой отпечаток. Гогела заговорил, стараясь, казалось, выразиться по-прежнему грубо.

Он протянул руки, точно желая меня обнять. С невероятным трепетом ужаса я подошел поближе к нему и наклонился в его объятия, испытывая страшное отвращение, но он только приблизил мое ухо к своим губам:

– Поверьте мне, – шепнул Гогела. – Je suis bon bougre! Я унесу тайну с собой в ад и скажу ее только дьяволу.

Зачем повторять все его грубости и пошлости? Все, что Гогела чувствовал в эти мгновения, было благородно, хотя он мог облекать свои мысли только в шутовские, грязные выражения. Больной попросил меня позвать доктора, и когда военный врач вошел в комнату, Гогела немного приподнялся, сперва указал пальцем на себя, затем на меня, стоявшего рядом с ним в горьких слезах, и несколько раз подряд повторил слово: «фриндс», «фриндс», «фриндс»!⁵

К моему изумлению, доктор, по-видимому, был очень опечален. Он несколько раз кивнул своей круглой головой, повторяя на ломаном французском языке:

– Хорошо, Джонни, понимаю!

Гогела пожал мне руку, обнял меня, и я ушел, рыдая как ребенок. Часто случалось мне видеть, что люди, которые вели самую непростительную жизнь, умирали необычайно счастливым, прекрасным образом! Мы имеем право позавидовать им в этом отношении. Большинство ненавидело Гогелу при жизни; но в течение последних трех дней он выказал столько твердости, что завоевал решительно все сердца. Когда вечером, после нашего посещения, разнеслось известие о том, что его уже нет более в живых, все голоса затихли, точно в доме, который посетила смерть.

Я словно обезумел. На следующее утро от этого состояния во мне не осталось и следа, но ночью я страдал от страшного нервного расстройства. Я убил его, а он сделал все, чтобы защитить меня! Я видел его ужасную улыбку! И вот как нелогично и бесполезно раскаяние: я снова готов был поссориться с кем-нибудь другим из-за слова, из-за взгляда! Вероятно, странное душевное настроение проглядывало на моем лице; когда в тот же вечер я подошел к доктору, поклонился ему и заговорил с ним, он посмотрел на меня с сожалением и состраданием.

Я спросил его, правда ли, что Гогела умер.

– Да, – ответил он.

– Он очень страдал?

– Черт возьми – немножко, а умер как ягненок.

Доктор посмотрел на меня, и я заметил, что его рука опустилась в карман. Он прибавил:

⁵ Испорченное слово friends – друзья.

– Вот, возьмите! Нет смысла тосковать!

Маленький человечек подал мне серебряную монету в два пенни и ушел.

Мне следовало бы отделать эту монету и повесить ее на стену, потому что, насколько я знаю, отдав ее мне, доктор в первый и последний раз в жизни подал кому бы то ни было милостыню. Вместо этого я, понимая его заблуждение, засмеялся горьким смехом, потом с отвращением бросил монету далеко от себя. Темнело, за покрытой садами долиной виднелась Принцева улица, вдоль нее бегали фонарщики с приставными лестницами и лампочками; я стоял у амбразуры стены и мрачно наблюдал за ними. Вдруг кто-то дотронулся до моей руки. Я повернул голову и увидел Чевеникса. Майор был в вечернем костюме, в галстучке, сложенном поистине превосходно. Нельзя отрицать, этот человек умел одеваться.

– А, – сказал он, – я так и думал, что это вы, Шамдивер. Итак, он умер?

Я кивнул головой.

– Ну, ничего, – проговорил Чевеникс. – Мужайтесь! Конечно, это горестно, ужасно и так далее. Но, знаете, его смерть далеко не дурной исход для вас и для меня. Он умер; вы навестили его, простились с ним. После этого я вполне спокоен.

Таким образом, я во всех отношениях был обязан Гогеле жизнью.

– Я не хотел бы говорить об этом, – заметил я.

– Хорошо, – проговорил он. – Только позвольте мне прибавить одно слово, и вопрос будет исчерпан навсегда. Из-за чего вы дрались?

– Из-за чего обыкновенно дерутся люди.

– Женщина?

Я пожал плечами.

– Черт возьми, я не считал его способным на любовь, – проговорил Чевеникс.

При этом замечании все мое недовольство выразилось в словах:

– Он! – крикнул я. – Да он никогда не смел заговорить с ней, он только раз видел ее и потом за глаза осыпал низкими оскорблениями! Если бы она дала ему шесть пенни, он почувствовал бы себя на небе!

В эту минуту я заметил, что майор пристально смотрит на меня. Я внезапно замолчал.

– Ну, до свиданья, Шамдивер, – сказал Чевеникс. – Приходите ко мне завтра к завтраку, мы поговорим о чем-нибудь другом.

Сознаюсь, этот человек поступал не худо; даже теперь, когда я через такой большой промежуток времени пишу эти строки, я вижу, что он вел себя прямо хорошо.

Глава IV

Сент-Ив получает связку банковских билетов

Прошло очень немного времени; однажды я, к своему удивлению, заметил, что какой-то статский, незнакомый мне господин с большим вниманием присматривается ко мне. Это был человек средних лет, с темно-красным лицом, круглыми черными глазами, уморительными клочковатыми бровями и выдающимся лбом, одетый в платье квакерского покроя. Он был очень некрасив, а между тем в выражении его лица мелькал тот неуловимый оттенок, который служит характерной чертой людей обеспеченных. Некоторое время он, стоя на известном расстоянии, так неподвижно наблюдал за мной, что даже не спугнул воробья, сидевшего между мной и им в отверстии стены, на задней части пушки. Когда наши глаза встретились, незнакомец подошел ко мне и заговорил со мной по-французски; владел он языком довольно бойко, но страшно коверкал произношение.

– Я имею удовольствие говорить с виконтом Анном де Керуэль де Сент-Ивом? – спросил он.

– Я не ношу этого имени, но имею на него право, – ответил я. – Теперь меня зовут просто Шамдивер, по фамилии моей матери; это имя больше идет солдату.

– Мне кажется, – сказал он, – вы не приняли точной фамилии вашей матушки. Насколько я помню, перед ее именем также стояла частица «де». Ведь ее звали Флоримонда де Шамдивер.

– Опять-таки совершенно верно, – проговорил я. – С удовольствием смотрю на человека, которому так хорошо знакомы все подробности моего происхождения. Смею спросить, вы сами «благо урожденные?»

Я произнес последние слова с очень надменным видом, отчасти для того, чтобы скрыть любопытство, которое возбуждал во мне этот странный посетитель, отчасти же потому, что они показались мне крайне комичными в устах пленника-рядового, одетого в тюремное платье.

Очевидно, комизм моего вопроса поразил и незнакомца, потому что он засмеялся.

– Нет, сэр, – ответил он, говоря теперь по-английски, – я не благо урожден, как вы выразились; мне придется удовольствоваться тем, что я хорошо умру; на это я так же способен, как все самые лучшие из вас. Меня зовут мистер Ромэн, Даниэль Ромэн; я адвокат из Лондона и, что, может быть, вам будет интересно узнать, я явился сюда по желанию графа, вашего внука-того дяди.

– Как? – крикнул я. – Неужели Керуэль де Сент-Ив помнит о моем существовании? Неужели он снисходит до того, что считает солдата Наполеона своим родственником?

– Вы хорошо говорите по-английски, – заметил мой собеседник.

– У меня было много случаев научиться этому языку; меня нянчила англичанка, отец постоянно говорил со мной по-английски, а кончил я мое образование под руководством вашего соотечественника, мистера Викари.

Лицо адвоката оживилось; он, казалось, был сильно заинтересован и быстро спросил:

– Как, вы знали бедного Викари?

– Не один год, – ответил я, – и вместе с ним скрывался много месяцев.

– А я был у него клерком и наследовал его фирму, – проговорил Ромэн. – Прекрасный человек! По делам графа Керуэля отправился он в ту проклятую страну, из которой ему не суждено было вернуться. Вам известно, как он окончил жизнь?

– Да, к несчастью! – сказал я. – Он погиб от рук разбойников, которых мы называем chauffeurs⁶. Словом, его пытали, и он от этого умер. Посмотрите, – прибавил я и, скинув баш-

⁶ Буквально – нагреватели. Разбойники, пытавшие жертвы огнем.

мак, показал ногу мистеру Роману (у меня не было чулок). – Взгляните, что они собирались сделать со мной, в то время еще совсем ребенком.

Ромэн взглянул на шрам от старинного ожога с некоторым ужасом. – Звери! – прошептал он про себя.

– Англичанин имеет полное право выражаться таким образом, – вежливо заметил я.

Я всегда пускал в ход подобные замечания, вращаясь среди этого доверчивого народа. Девяносто процентов наших посетителей приняли бы мои слова за чистую монету и нашли бы их вполне естественными; в их глазах мое замечание послужило бы доказательством того, что я способен правильно судить о вещах, но мистер Ромэн, по-видимому, был гораздо проныцательнее.

– Вы не совсем глупы, как я вижу, – произнес адвокат.

– Нет, не совсем, – подтвердил я.

– А между тем следует остерегаться иронии; это опасное оружие, – продолжал он. – Помните, ваш дядя слишком часто прибегал к помощи этой формы речи и так к ней привык, что теперь истинный смысл его речи остается загадкой.

– Вы заставляете меня задать вам несколько вопросов, которые, вероятно, покажутся вам вполне естественными, а именно: что доставляет мне удовольствие видеть вас? Почему вы узнали меня и как вам стало известно, что я здесь?

Адвокат осторожно раздвинул фалды своего сюртука и сел рядом со мной на краешек каменной плиты.

– Это довольно странная история, – сказал он, – и я попрошу у вас позволения прежде всего ответить на ваш второй вопрос. Я узнал вас потому, что вы несколько похожи на вашего двоюродного брата, виконта Алена.

– Надеюсь, я красивее, нежели он?

– Спешу вас уверить, – был ответ, – что вы не ошибаетесь. На мой взгляд, у Алена де Сент-Ива не особенно приятная наружность. Однако когда я, зная, что вы находитесь здесь, искал вас взглядом – ваше сходство с виконтом Аленом помогло мне в моих поисках. Что касается того, каким путем узнал я, где вы находитесь, я скажу, что мне в этом отношении помогла довольно странная случайность, и опять-таки дело не обошлось без виконта Алена. Нужно заметить, что ваш кузен следил за вами и сообщал графу все, что вы делали и чем занимались... С какой целью – предоставляю судить вам самим. Когда он впервые принес известие о вашей... о том, что вы служите Бонапарту, мне показалось, что старый граф умрет от гнева и раздражения. Но мало-помалу обстоятельства несколько изменились; собственно говоря, я должен был бы выразиться: сильно изменились. Мы узнали, что вы дрались против англичан, за храбрость были произведены в офицеры, а затем снова стали рядовым. Как я уже сказал, граф де Керуэль привык к мысли, что вы, его родственник, служите Бонапарту. В то же время он начал страшно удивляться, что другой его родственник так хорошо знает все, что делается во Франции. В вашем дяде невольно зародилось очень неприятное подозрение, уж не шпион ли виконт Алэн? Словом, стараясь погубить вас, ваш двоюродный брат навлек на себя тяжкие обвинения.

Мой собеседник замолчал, понюхал табак и взглянул на меня самым доброжелательным взглядом.

– Господи Ты, Боже, – проговорил я. – Да, это действительно прелюбопытная история.

– Погодите! Дайте досказать до конца! – проговорил Ромэн. – Вскоре последовали два события. Первым из них была встреча графа Керуэля с monsieur де Мосеаном.

– Я знаю этого господина и поплатился за знакомство с ним, – проговорил я. – Он был виновником того, что меня разжаловали в солдаты.

– Да? – вскрикнул Ромэн. – Это для меня новость!

– О, я не смею жаловаться! Я бы неправ и действовал вполне сознавая, какие последствия повлечет за собой мой поступок. Если человеку поручено сторожить пленника, а он отпускает его, – меньшее, чего он может ожидать за такое преступление, это разжалование.

– Вас отблагодарят, – сказал Ромэн, – вы принесли себе пользу, а еще большую вашему королю!

– Если бы я думал, – произнес я, – что причинил вред моему императору, поверьте мне, я скорее оставил бы Мосеана в адском пламени, нежели помог бы ему спастись. Для меня он был частным человеком, попавшим в затруднение, и я отпустил его, поддаваясь чувству сострадания; право, я не имел никакого желания обратить это обстоятельство себе в пользу, хотя мне и приписывают теперь различные побуждения, которых не было у меня.

– Ну, ну, – заметил адвокат, – теперь ведь это все равно. Право, в вас говорит безумная горячность... неуместный энтузиазм, поверьте мне. Дело в том, что господин Мосеан с благодарностью говорил о вас и выставил вас в таком свете, что мнение вашего дяди о вас сильно изменилось. Вскоре ваш покорный слуга представил графу Керуэлю непреложные доказательства того, что мы давно уже подозревали. Сомнений не могло остаться; теперь сделалось понятным, откуда виконт Алэн брал деньги, чтобы вести рассеянную жизнь, нарядно одеваться, содержать любовниц и скаковых лошадей, вести большую игру: он получал жалованье от Бонапарта, был тайным шпионом и держал в своих руках нити самых запутанных и хитрых предприятий. Нужно отдать справедливость вашему дяде, он отлично поступил в этом случае, уничтожил все доказательства позора одного из своих родственников и перенес свое сочувствие на другого.

– Как мне понять ваши слова? – спросил я.

– Я сейчас все объясню вам, – ответил Ромэн. – В человеческой природе много непоследовательности; людям, принадлежащим к моей профессии, часто случается наблюдать это. Себялюбцы могут жить без друзей, без детей, могут обходиться без всего человеческого рода, исключая, пожалуй, только аптекаря или цирюльника, но когда подходит смерть, они чувствуют физическую невозможность умереть без наследника. Вы можете видеть на себе подтверждение этого принципа. Виконт Алэн (хотя вряд ли он подозревает это) более уже не наследник графа. Остается виконт Анн.

– Вы как будто бросаете тень на моего дядю, – проговорил я.

– Неумышленно, – возразил Ромэн. – Граф вел разгульную жизнь, ужасно распушенную, но знать его и не восхищаться им невозможно; он поразительно, изысканно вежлив и любезен.

– Итак, вы полагаете, что у меня есть действительно несколько шансов стать его наследником?

– Прошу вас заметить, – сказал адвокат, – что я не был уполномочен сказать вам все, что я сказал. Мне не поручали толковать с вами о завещаниях, наследствах или о вашем двоюродном брате. Я прислан сюда с тем, чтобы передать вам только следующее: граф де Керуэль желает видеть своего внучатого племянника.

– Ну, – сказал я, оглядывая укрепления, окружавшие нас, – без сомнения, в этом случае Магомет должен подойти к горе.

– Извините, – перебил меня Ромэн, – вы знаете, что ваш дядя стар, но я еще не сказал вам, что силы графа совершенно истощены, что смерть недалеко от него. Нет, нет, сомнений быть не может: гора должна прийти к Магомету.

– Слышать такое мнение от англичанина – нечто очень замечательное, – проговорил я, – но вы по самому вашему положению – хранитель человеческих тайн, и я вижу, что вы оберегаете секрет моего двоюродного брата Алена, а это не может служить признаком свирепого патриотизма...

– Прежде всего я поверенный вашей семьи, – произнес Ромэн.

– В таком случае, – сказал я, – может быть, мне самому следует сделать вам одно признание. Скала, на которой стоит наша тюрьма, высока и крута; можно почти наверное сказать, что с какого бы пункта утеса ни упал человек – он погибнет, а между тем, мне кажется, я обладаю парой крыльев, которые в состоянии снести меня к подножию скалы. Но, очутившись внизу, я стану совершенно беспомощным.

– А может быть, в эту-то минуту я и выступлю на сцену, – ответил адвокат. – Предположите, что, благодаря какой-нибудь случайности, которую я не предугадываю, и о которой не высказываю своего мнения...

Тут я прервал его.

– Позвольте сделать одно замечание: я не связан словом.

– Ятак и понял вас, – заметил Ромэн, – хотя многие из вас, французских дворян, находят, что данное ими слово мало тяготит их.

– Сэр, я не из числа подобных людей, – проговорил я.

– Откровенно говоря, я и не считал вас таким, – ответил адвокат, потом продолжал. – Итак, предположим, что вы, освободившись, очутились у подножия утеса. Хотя я не могу сделать для вас многого – все же кое-чем я в состоянии помочь вам продолжать ваш путь. Прежде всего я унес бы с собой во внутреннем кармане или в башмаке вот это, – и мистер Ромэн подал мне пачку банковских билетов.

– Подобная вещь не принесет вреда, – заметил я и сейчас же спрятал деньги.

– Затем, – продолжал адвокат, – вам следует знать, что отсюда до того пункта, в котором живет граф де Керуэль, то есть до Амершем-Плэса, близ Дунстабля – путь далекий. Вам придется пройти большую часть Англии, причем я не могу ничем помочь вам в приискании первых мест остановок; в этом случае вы должны полагаться только на свое счастье и изобретательность. У меня нет знакомых в Шотландии, или, по крайней мере (тут мистер Ромэн сделал гримасу), нет бесчестных знакомых. Но дальше у югу, близ Уакфильда, живет, как мне известно, один господин по имени Берчель Фенн, не отличающийся излишней крайностью убеждений; он может провезти вас дальше. По-видимому, этот человек занимается систематическим укрывательством бежавших пленников. Тайна его жжет мне язык. Но ведь, имея дело с негодями, следует ожидать всего, а ваш двоюродный брат Ален, как мне кажется, самый большой негодяй из тех, которых я знаю!

– Если этот Фенн находится в зависимости от моего двоюродного брата, быть может, мне следует держаться от него как можно дальше?

– Мы напали на след Бречеля Фенна благодаря некоторым из бумаг виконта Алена, – возразил адвокат. – Но мне кажется, что вы можете положиться на Фенна (по крайней мере, настолько, насколько во всем этом гадком деле можно вообще полагаться на кого-нибудь). Думаю, что вы даже могли бы прикрыться именем виконта; в этом отношении фамильное сходство оказало бы вам услугу. Что, если бы, например, вы назвались его братом?

– Пожалуй, – проговорил я. – Но подумайте: вы предлагаете мне очень трудную игру; по-видимому, у меня чертовски сильный противник в лице моего двоюродного брата; я же военнопленный, а потому нельзя сказать, чтобы у меня в руках были хорошие карты. Что же я могу выиграть?

– Очень многое, – ответил Ромэн. – Ваш дядя страшно богат, страшно. Он вовремя взялся за ум и почуял революцию еще задолго до ее начала; пользуясь моей фирмой, граф продал все, что мог продать, перевез все, что можно было перевезти, в Англию. В Британии есть большие прекрасные имения, и Амершем-Плэс одно из лучших среди них. У графа много очень выгодно помещенных денег. Он живет по-царски. Но что в том? Господин де Керуэль потерял все, из-за чего стоит жить, – семью, родину; он видел, как умертвили его короля и королеву; на его глазах происходили страшные несчастья, совершались возмутительные низо-

сти... – Адвокат увлекался все больше и больше, щеки его покраснели; вдруг он перебил себя, сказав:

– Словом, он видел все привлекательные стороны правления, за которое сражается его племянник, и, на несчастье графа, это правление не нравится ему!

– Вы говорите с горечью, которую, мне кажется, я должен извинить вам, – сказал я, – однако кто из нас имеет большее право ощущать ее? Мой дядя бежал. Родители мои, бывшие, может статься, менее благоразумными, остались во Франции. Вначале они сочувствовали республиканскому движению, и даже до самого конца ничто не могло заставить их вполне разочароваться в народе. Это было славным, благородным безумием, за которое я почитаю их. Они погибли. Говорят, на мне лежит отпечаток дворянства, и я должен сказать, что люди, воспитывавшие меня, погибли на эшафоте; последней школой, в которой я учился хорошим манерам, была тюрьма аббатства. Неужели вы предполагаете, что вам следует объяснять горечь человеку с таким прошлым, как у меня?

– Я и не думаю об этом, – ответил мистер Ромэн. – А между тем одного я не могу понять: как человек вашего происхождения, перенесший все, что испытали вы, может служить Корсиканцу. Я не понимаю этого; мне кажется, все великодушное, благородное в вашей природе должно восставать против этого... господства.

– Может быть, – возразил я, – если бы вы провели детство среди волков, вы обрадовались бы, увидав корсиканского пастуха.

– Ну, ну, – возразил мистер Ромэн, – может быть, есть вещи, о которых спорить нельзя. Махнув рукой, он быстро сошел с лестницы и исчез в тени тяжелой арки.

Глава V

Пленнику показывают дом в зелени

Едва ушел адвокат, как я вспомнил о множестве пробелов, оставшихся в его рассказе; прежде всего он не сказал мне адреса Берчеля Фенна, что было очень важно; я бросился к лестнице, но опоздал; адвокат уже скрылся; в тени под аркой, которая вела к воротам замка, виднелись только красный сюртук и блестящее оружие часового. Мне оставалось вернуться к укреплениям, на свое обычное место.

Я не был вполне уверен, что имел право занимать этот угол, но пользовался особой милостью: ни один английский офицер или рядовой не вызвал бы меня оттуда, не имея на это особенно важного повода; всегда, когда мне хотелось быть наедине с собой, я мог сидеть за моей пушкой и никто не мешал мне. В этом месте скала спускалась вниз почти совершенно отвесной стеной, покрытой чащей цеплявшихся за камни кустов; дальше внизу виднелась башенка наружного укрепления; глядя через долину, я мог любоваться длинной террасой Принцевой улицы, служившей обыкновенным местом прогулок жителей Эдинбурга. Не часто случается, чтобы военная тюрьма возвышалась над главной улицей города.

Не стоит утруждать вас рассказом о ходе моих размышлений, вызванных разговором, который я только что вел; не буду я также упоминать и о надеждах, зародившихся во мне. Гораздо важнее то обстоятельство, что, даже погрузившись в свои мысли, я все время следил за людьми, гулявшими по Принцевой улице, смотрел, как они проходили взад и вперед, встречались, кланялись друг другу, входили в лавки, которые в этой части города необыкновенно хороши для английской провинции, наблюдал, как покупатели выходили из магазинов. Мой ум был сильно занят, а потому глаза смотрели бесцельно, наудачу; я невольно некоторое время следил за каким-то господином в красной шляпе и белом пальто, хотя совершенно не интересовался им и не мог рассчитывать узнать о нем что-либо до самого моего переселения к праотцам. По-видимому, у него было много знакомых; ему вечно приходилось поднимать свою шляпу. Поздоровавшись, вероятно, с полдюжиной встречных, он наконец подошел к молодой даме и юноше; мне показалось, что я узнаю их.

На таком большом расстоянии невозможно совершенно ясно рассмотреть кого-нибудь, но одна мысль, что я узнал эти две высокие, статные фигуры, заставила меня высунуться из амбразуры и долго следить за ними. Только подумать, что такое сильное волнение, может статься, было вызвано случайным сходством, что я трепетал, смотря, по всей вероятности, на совершенно незнакомых мне людей!

Как бы то ни было, первый же взгляд на них мгновенно изменил ход моих мыслей. Все, что говорил адвокат, было хорошо, полезно; мне казалось необходимым повидаться с графом. Но мысль о дяде, притом же еще внучатом и совершенно не знакомом, неспособна волновать воображение молодого человека, между тем покинув Эдинбургский замок, я мог потерять всякую возможность когда-нибудь снова увидеть Флору. То маленькое впечатление, которое я произвел на нее (если предположить, что я произвел на нее некоторое впечатление), должно было скоро исчезнуть. Да, удалившись, я очень, очень скоро превратился бы для нее в призрачное воспоминание, рассказами о котором она впоследствии стала бы занимать мужа и детей. Мне следовало усилить это впечатление, следовало наложить более ясный, более отчетливый отпечаток на мягкий воск ее души до моего исчезновения из Эдинбурга. И вот два стремления, боровшиеся в моем сердце, слились, соединились воедино. Я страстно желал снова увидеть Флору и в то же время считал необходимым, чтобы кто-нибудь дал мне новое платье и помог моему побегу. Вывод казался ясным. Я знал только служивших в гарнизоне солдат и офицеров, которые по долгу чести были обязаны стеречь меня и препятствовать моему осво-

бождению, а затем Флору и ее брата, больше же в целой Шотландии у меня не нашлось бы ни одной знакомой души. Мне думалось: если я бегу, то Флора и Рональд должны сделаться моими помощниками! Однако сказав им о моем намерении, еще не освободившись от неволи, я поставлю их в затруднительное положение; в этом случае моим друзьям придется выбирать тот или другой образ действий, что, без сомнения, порядочно смутит их.

Как поступили бы они, если бы я заранее сознался им в задуманном бегстве, я не знал, так как не мог решить, что сделал бы сам на их месте. Итак, прежде всего мне следовало бежать. Мне казалось, что, когда зло станет совершившимся фактом, когда я превращусь в несчастного беглеца, я буду иметь возможность обратиться к Рональду и Флоре с большей безопасностью, с меньшим сознанием того, что моя просьба о помощи преступна. Мне было необходимо узнать, где живут молодые люди и как пройти к ним. Я придумал целую серию маленьких хитростей, посредством которых надеялся получить необходимые для меня сведения. Вскоре вы увидите, что мой план оказался удачным.

Дня через два после моего свидания с поверенным дяди ко мне явился сам мастер Рональд. Я еще не имел никакого влияния на этого мальчика и решил прежде постараться очаровать брата Флоры, возбудить в нем сочувствие к моей судьбе, а потом уже приступить к тому, что я задумал. Рональд казался очень смущенным. До сих пор он еще ни разу не разговаривал со мной. Он только молчаливо кланялся мне да краснел, когда я обращался к нему. Теперь он подошел ко мне с видом человека, исполняющего свою обязанность, или неопытного солдата, который впервые идет в огонь. Я перестал резать, поклонился ему и приветствовал его довольно официальным образом; мне казалось, что это понравится мальчику. Рональд продолжал молчать; тогда я пустился в такие рассказы о моих военных приключениях, на которые, пожалуй, не решился бы сам Гогела. Мальчик, видимо, смягчился и оживился; он подошел поближе ко мне и настолько позабыл свою застенчивость, что стал задавать мне множество вопросов; наконец, снова вспыхнув, Рональд сказал, что сам надеется сделаться офицером.

– Да, – сказал я, – ваши британские войска на полуострове великолепны. Храбрый молодой человек имеет право гордиться, когда его назначают начальником отряда подобных солдат.

– Я знаю это, – заметил Рональд, – и не могу думать ни о чем другом. Мне стыдно, что я живу дома, продолжаю заниматься этим глупым ученьем, в то время как другие, не старше меня, уже бьются на поле сражения.

– Я не могу порицать вас, – сказал я, – так как чувствовал совершенно то же, что и вы.

– Нет, войско... Разве есть войско такое же прекрасное, как наше?

– Ну, – проговорил я, – у него есть один недостаток: оно не умеет отступать. Я сам убедился в этом.

– Мне кажется, причина этого кроется в нашем национальном характере, – заметил Рональд (прости его, Господи!) с гордым видом.

«Я видел, как солдаты с вашим „национальным характером“ бежали с поля сражения, и имел честь преследовать их», – так и вертелось у меня на языке, но я не был настолько неблагодарно разумен, чтобы высказать свою мысль вслух. Всем следует льстить, а уж юноши и женщины требуют безграничной лести, и я весь остаток дня говорил Рональду о британском героизме; не побожусь, что все мои рассказы были совершенно правдивы.

– Как странно, – проговорил Рональд, – мне говорили, что французы очень неискренни. Ваше же чистосердечие мне так нравится! У вас должен быть благородный характер. Я восхищаюсь вами и очень благодарю вас за то, что вы так добры к... к... такому молодому человеку, как я. – Мальчик протянул мне руку.

– Скоро ли я снова увижусь с вами? – спросил я.

– О, теперь очень скоро, – ответил он. – Вот... вот что я вам скажу. Я не хотел позволить Флоре... мисс Гилькрист, хотел я сказать, прийти сюда сегодня. Я желал сам получше позна-

комиться с вами. Надеюсь, вы не обиделись: знаете, с иностранцами нужна большая осторожность.

Я вполне одобрил такую предусмотрительность. Рональд ушел. Мою душу наполняла смесь самых противоречивых чувств: мне было и совестно за то, что я сыграл роль обманщика, и досадно, что я курил такой фимиам английскому тщеславию, в глубине же души я радовался, что брат Флоры стал моим другом или что я, по крайней мере, был на пути сделаться его приятелем.

Я был почти уверен в том, что Флора и Рональд навещат меня на следующий же день, и не ошибся. Завидев гостей, я сделал к ним навстречу несколько шагов, придав моему лицу выражение, в котором гордость, приличная солдату, смешивалась со смирением, идущим пленнику. Мне казалось, что в эти минуты я мог бы послужить моделью для живописца. Сознаюсь, я играл комедию, но как только взгляд мой упал на смуглое лицо Флоры, на ее красноречивые глаза, кровь бросилась мне в лицо, и непритворное волнение охватило меня.

Я поблагодарил молодых Гилькристов без излишней радости; мне следовало оставаться по-прежнему печальным и в разговоре сливать воедино и брата, и сестру.

– Вы оба были так добры ко мне, иностранцу и пленнику, что я долго думал, чем бы я мог выразить вам мою благодарность. Может быть, вы найдете, что я делаю странное признание, если скажу вам, что здесь никто, даже ни один из моих товарищей, не знает моего настоящего имени и титула. Все меня зовут просто Шамдивер; я имею право на эту фамилию, но должен был бы называться другим именем, именем, которое недавно был принужден скрывать, как преступление. Мисс Флора, позвольте представиться вам: виконт Анн де Керуэль де Сент-Ив, рядовой.

– Я так и знал! – вскрикнул мальчик. – Я знал, что он дворянин!

Мне показалось, что и глаза мисс Флоры сказали то же самое, но только гораздо более выразительным образом. В течение этого свидания со мной молодая девушка смотрела в землю или на мгновение взглядывала на меня с выражением серьезным и кротким.

– Конечно, друзья мои, вы поймете, что это тяжелое признание, – продолжал я. – Горько гордому человеку, стоя перед вами в виде побежденного пленного узника, произнести свое настоящее имя. А между тем мне хотелось, чтобы вы знали, кто я. Возможно, что через долгий промежуток времени вы услышите обо мне, я о вас (может быть, в это время мы с мистером Гилькристом будем на поле сражения в двух различных лагерях); а было бы жаль, если бы мы, получив вести друг о друге, не узнали, о ком именно идет речь.

И Флора, и Рональд были тронуты; они стали предлагать мне всевозможные услуги, спрашивали, не нужно ли мне книг, табаку и т. д. Я с радостью принял бы все их предложения прежде, в то время, когда наш подкоп еще не был готов. Теперь же сами по себе эти вещи потеряли для меня значение; заботливость молодых людей казалась мне приятной только потому, что служила доказательством перемены, происшедшей в них, перемены, которую я хотел вызвать.

– Мои дорогие друзья... – заметил я, – вы должны позволить называть вас так человеку, у которого на протяжении многих сотен миль нет других расположенных к нему людей! Итак, друзья мои, может быть, вы найдете, что я сентиментальный фантазер, может быть, вы будете даже правы, но мне хочется прежде всего попросить вас об одном одолжении: вы видите, я заключен на вершине этой скалы, в центре вашего города; при той небольшой свободе, которою я пользуюсь, я вижу отсюда целые мириады крыш, большое пространство моря и земли, и все это мне враждебно! Под каждой из этих крыш живут мои враги; если я замечу столб дыма из трубы, я говорю себе, что там подле топящегося камина, от которого поднимается этот дым, без сомнения, сидит человек, с огромной радостью читающий отчет о наших несчастиях. Простите меня, дорогие друзья, я знаю, что вы, конечно, с тем же чувством читаете газеты, и не ропщу на это. Вы – совсем другое дело! Покажите же мне ваш дом, хотя бы только его трубу или,

если ее нельзя рассмотреть отсюда, хотя бы только квартал города, в котором он стоит! Если вы исполните мою просьбу, я, осматриваясь кругом, буду в состоянии говорить себе: есть дом, в котором обо мне думают не с одним недобрый чувством. Флора помолчала.

– Это премилая мысль, – сказала она, – и что касается Рональда и меня – вы правы. Мне кажется, я могу показать вам дым из нашей трубы.

Говоря это, девушка отвела меня к противоположной, южной части крепости, как раз к бастиону, стоявшему над местом, где проходил наш подкоп. Отсюда мы видели у своих ног несколько предместий, лежавших близ зеленой долины, постепенно поднимавшейся к Пентлэндским горам; на склоне одной из этих гор (бывшей на расстоянии около двух миль от нашего замка) виднелся ряд белых скал. Флора обратила мое внимание на них, сказав:

– Видите ли вы эти утесы? Мы называем их семью сестрами; переведите глаза немного пониже – вы заметите впадину, несколько вершин деревьев, а между ними струйку дыма. Это коттедж Суанстон. Мы с Рональдом живем в нем вместе с нашей теткой. Если вам приятно видеть этот дом, я очень рада. Из угла сада нам тоже виден замок, и по утрам мы часто ходим туда – правда, Рональд? – и вспоминаем о вас, виконт де Сент-Ив, но, к несчастью, это не возбуждает в нас веселости.

– Mademoiselle, – произнес я, и поистине едва был в состоянии справиться своим голосом, – если бы вы знали, что ваши великодушные слова, даже один взгляд на вас отнимают у этого места весь его ужас, то, я верю, я надеюсь, я знаю, вы поразовались бы. Ежедневно стану я приходить сюда, чтобы смотреть на эту милую трубу, на зеленые холмы и от всего сердца благословлять вас; бедный грешник будет молиться за вас. О, я ведь не говорю, что мои мольбы могут что-либо значить!

– Кто знает это, виконт, – нежно проговорила она. – Однако нам, кажется, уже пора идти.

– Давно пора, – произнес Рональд, которого я, говоря по правде, немного позабыл.

Провожая моих гостей, я изо всех сил старался вознаградить юношу за мою забывчивость и силился вычеркнуть из его памяти воспоминание о моих последних чересчур горячих словах. Кто же встретился нам в это время? Майор! Мне пришлось остановиться и отдать ему честь, но он, по-видимому, обратил внимание только на одну фигуру.

– Кто это? – спросила Флора.

– Мой друг, – отвечал я. – Я даю ему уроки французского языка, и он относится ко мне очень хорошо.

– Он смотрел... не скажу дерзко... – проговорила Флора, – но почему он так смотрел на меня?

– Если вам не угодно, чтобы на вас смотрели, mademoiselle, – заметил я, – осмелюсь посоветовать вам носить вуаль.

Флора взглянула на меня; она, по-видимому, немного рассердилась и сказала:

– Повторяю, он смотрел очень пристально.

Рональд же прибавил:

– О, я не думаю, чтобы у него был дурной умысел. Вероятно, он просто удивился, что мы идем с плен... с виконтом де Сент-Ивом.

Когда на следующее утро я пришел к Чевениксу и окончил просмотр его упражнений, он сказал мне:

– У вас прекрасный вкус.

– Прошу извинения, но я не понимаю, – ответил я.

– О, нет, прошу вас извинить меня, вы так же хорошо понимаете мои слова, как я сам, – сказал майор.

Я пробормотал несколько слов о том, что люди часто говорят загадками.

– Что же, вам угодно, чтобы я дал вам ключ к этой загадке? – сказал Чевеникс, откидываясь назад. – С вами была та молодая особа, которую оскорбил Гогела и за которую вы отомстили ему. Я не могу порицать вас. Она – небесное создание.

– Да, вполне небесное, подтверждаю это от всего сердца, – сказал я, – подтверждаю и то, что вы сказали раньше, если вам это приятно! Вы стали до того проникательны, что, конечно, сами знаете, какого мнения держаться.

– Как ее фамилия? – спросил он.

– Вот еще! – ответил я. – Вы полагаете, что она мне сказала ее?

– Уверен в этом, – был ответ.

Я не мог подавить смеха.

– И вы полагаете, что я вам скажу ее имя?

– Ничуть, – ответил майор и прибавил: – Однако будем продолжать урок.

Глава VI

Бегство

Приближалось время нашего бегства, и чем ближе подходил назначенный для него день, тем меньше радовала нас мысль о задуманном деле. Только с одной стороны возможно без затруднения и не подвергаясь опасности уйти из Эдинбургского замка, но так как именно там-то и находятся главные крепостные ворота, стоит караул и проходит главная улица верхнего города, то пленникам не могло даже прийти в голову воспользоваться этим путем для побега. Повсюду, кроме невозможного для нас отлогого спуска, скала стояла отвесной стеной; мы могли попытаться вырваться на свободу только через зиявшую бездну. В течение многих темных ночей все мы работали заодно, принимая огромные предосторожности, чтобы не шуметь; наконец нам удалось сделать ход под кручей около юго-западного угла, в том месте, которое называется «Локоть Дьявола». Я никогда не встречал этой знаменитой личности, и если вся ее фигура походит на этот «локоть», я не имею ни малейшего желания знакомиться с ней. От подножия каменной крепостной постройки отвесно спускалась проклятая стена скалы, а у ее подножия расстилались большие поляны, разбросанные предместья города и строящиеся дома. Я не мог долго смотреть на «Локоть Дьявола», так как при мысли о том, что когда-нибудь в темную ночь мне самому придется спуститься с этой высоты, у меня дух захватывало, и, право, на всякого человека, не матроса и не звонаря, вид ужасной бездны должен был действовать как сильнейшее рвотное.

Не знаю, откуда явилась веревка, да, по правде говоря, я и не особенно старался узнать об этом. Меня занимала другая мысль, а именно: поможет ли она нам вырваться на свободу? Мы измерили ее, но кто мог сказать, достаточно ли она длинна для той высоты, с которой нам предстояло спуститься? Каждый день кто-нибудь из пленников украдкой пробирался к «Локтю Дьявола» и старался определить высоту скалы просто на глаз или бросая вниз камни. Один из исследователей помнил формулу, которая помогает измерять глубину посредством звука, или вернее, он знал часть этой формулы, любезно дополняя пробел своим воображением.

Эта формула не внушала мне доверия. Если бы даже мы ее добыли из книг, то для применения к делу встретили бы такие затруднения, которые, наверно, озадачили бы самого Архимеда. Мы не смели бросать больших глыб, так как гул от их падения мог быть слышен часовым, а шум падения камней, которые кидали мы, плохо дсь стигал до нашего слуха. У нас не было часов, по крайней мере, часов с секундной стрелкой, и хотя каждый из нас говорил, что он отлично знает, сколько длится секунда, но все мы самым различным образом определяли ее продолжительность. Словом, если двое пленников отправлялись на исследования, они неминуемо возвращались с совершенно противоположными мнениями; нередко один из них вдобавок приходил с подбитым глазом. Я смотрел на все это со смехом, но вместе с тем с нетерпением и отвращением. Я не выношу, когда люди действуют небрежно, когда основанием для их поступков служит невежество; мысль о том, что какой-нибудь бедняк, опираясь на самые шаткие данные, рискнет своей жизнью, возмущала меня. Знай я заранее имя этого бедняка, я, вероятно, негодовал бы еще сильнее.

Наконец наступила минута, когда нам осталось только решить, кто из пленников покажет пример остальным. Кинули первый жребий, и он выпал на долю сарая «Б». Мы еще раньше единодушно решили смешать горькое со сладким и постановили, что за человеком, который раньше всех остальных сделает попытку спуститься с «Локтя Дьявола», последуют его товарищи по сараю. Поэтому обитатели барака «Б» были довольны велением судьбы. Мы радовались бы еще гораздо больше, если бы нам не предстояло теперь кинуть жребий между собой, чтобы сделать окончательный выбор.

Мы совершенно не знали ни глубины бездны, ни длины веревки; первому узнику, которому предстояло сделать опасную попытку, приходилось спуститься с утеса вышиной от пятидесяти до семидесяти сажень в глухую ночь по висячей веревке, не придерживаемой внизу хотя бы слабой детской рукой, и потому, может быть, нас следовало бы извинить за маленькую нерешительность. Однако, говоря правду, эта нерешительность доходила до крайности. Мы просто-напросто всегда теряли мужество, превращались в настоящих женщин, когда дело касалось горных высот и обрывов; я сам не раз робел в случаях, бывших гораздо более ничтожными, нежели спуск со скалы Эдинбургского замка.

Мы толковали, спорили в темноте ночи в промежутках между обходами караульных отрядов, и вряд ли какая-нибудь корпорация людей выказывала когда-либо меньшую склонность к приключениям. Я уверен, что многие сожалели о Гогеле; я первый. Некоторые уверяли, что спуск со скалы не представляет ни малейшей опасности, с жаром доказывали это, тем не менее каждый предпочитал, чтобы не он, а кто-нибудь иной первым отважился на опасное предприятие; другие называли безумием саму мысль о спуске с «Локтя Дьявола»; в этом смысле с особенным жаром выступал один флотский матрос; никто больше него не был в состоянии приводить всех нас в полное уныние. Он твердил нам, что скала Эдинбургского замка выше величайшей корабельной мачты, что канат будет висеть совершенно свободно, словом, ясно давал понять, что он сомневается, чтобы самый сильный и смелый из пленников мог счастливо достигнуть подножия утеса. Наконец драгунский вахмистр вывел нас из нашего смертельного затруднения.

– Товарищи, – сказал он, – я старше всех вас по чину, поэтому если вы пожелаете, чтобы я спустился первым, я согласен. Однако вы должны принять в расчет, что я имел бы право идти и последним. Я уже не молод, в прошедшем месяце мне минуло шестьдесят лет; живя в плену, я отяжелел, руки мои заплыли жиром. Вы должны обещать, что не будете бранить меня, если я упаду и таким образом отправлю к черту все дело.

– Мы и слышать не должны ни о чем подобном, – сказал я. – Monsieur Лекле старше всех нас, и потому ему последнему следовало бы предложить такую вещь. Ясно, что мы должны бросить жребий.

– Нет, – проговорил Лекле, – вы внушили мне совсем другую мысль! Один из присутствующих обязан чувствовать ко всем остальным благодарность за то, что они сохранили его тайну. Вдобавок, все мы только мужики, он же иное дело. Пусть Шамдивер, пусть дворянин идет впереди всех.

Сознаюсь, что дворянин, о котором шла речь, подал свой голос после довольно длинной паузы. Однако выбора не оставалось. Когда я только что поступил в полк, то был так неблагодарен, что кичился своим дворянским происхождением. Нередко солдаты смеялись за это надо мной и даже стали называть меня монсеньором или маркизом. Теперь мне было необходимо оправдаться в их глазах и с достоинством отплатить за насмешки.

Моего маленького колебания никто не заметил: на мое счастье, как раз в это время мимо проходил патруль. В течение наступившей тишины произошло нечто, заставившее всю кровь мою закипеть. В нашем сарае жил солдат по имени Клозель, человек с очень дурными наклонностями, злой; он был одним из подражателей Гогелы, но тот обладал своего рода чудовищной веселостью, а этот отличался суровым, сумрачным характером. Иногда его называли генералом, было у него и другое прозвище, но такое, которого я не решаюсь повторить.

Мы сидели прислушиваясь; вдруг рука этого человека опустилась на мое плечо, и его голос прошептал мне на ухо: «Если вы не пойдете, маркиз, я повешу вас!».

Как только патруль ушел, я заговорил:

– Конечно, господа, я поведу всех вас с величайшим удовольствием, но прежде всего необходимо наказать одну собаку. Клозель сию минуту оскорбил меня и покрыл позором французскую армию, и я требую, чтобы его прогнали через строй наших товарищей по сараю.

Все в один голос спросили, что сделал Клозель, а когда я рассказал, в чем было дело, товарищи опять-таки единогласно решили, что виновный заслужил предложенное мной наказание; поэтому с «генералом» обошлись очень сурово. На следующий день все встречавшиеся с ним поздравляли его с новыми орденами. На наше счастье, Клозель был одним из первых, задумавших побег, в противном случае он, конечно, оплатил бы нам, сделав на нас донос. Ко мне Клозель, судя по его взглядам, питал нечеловеческую ненависть, и я решил впоследствии доказать ему, что он имел право ненавидеть меня.

Если бы мне сейчас же пришлось спуститься со скалы, я уверен, что выполнил бы эту задачу хорошо. Но делать попытку было уже поздно, близился рассвет, да к тому же следовало оповестить остальных пленников. Мукам ожидания было суждено окончиться для меня не так-то скоро; на следующие две ночи небо украшали мириады звезд; глаз мог различить каждую кравшуюся кошку на расстоянии мили. Советую вам, читая рассказ об этом промежутке времени, относиться к виконту Сент-Иву с симпатией. Все говорили со мной нежно, точно стоя у постели больного. Наш итальянский капрал, получив от жены рыбака дюжину устриц, положил их все к моим ногам, точно я был языческим идолом. С тех пор при виде раковин мне всегда бывает как-то не по себе. Лучший резчик принес мне только что отделанную табакерку; когда она еще не была готова, он часто повторял, что не согласится отдать ее меньше нежели за пятнадцать долларов; мне кажется, что эта вещица и действительно стоила таких денег. Между тем, когда я поблагодарил товарища за его подарок, голос не повиновался мне. Словом, меня кормили, точно пленника в стане людоедов, мне воздавались почести, как жертвенному тельцу! Эти надоедливые услуги и неизбежность той опасности, на которую я должен был отважиться, – все вместе заставляло меня находить, что на мою долю выпала тяжелая и трудная роль.

Я почувствовал большое облегчение, когда наступил третий вечер и все окрестности окутались густой пеленой морского тумана; фонари Принцевой улицы то совершенно пропадали, то мерцали не ярче кошачьих глаз. Шагах в пяти от фонаря укрепления было уже совершенно темно. Мы поспешили лечь. Если бы тюремщики наблюдали за нами, они заметили бы, что мы смолкли необычайно рано. Однако, вряд ли кто-нибудь из пленников спал. Каждый лежал на своем месте, переживая в одно и то же время и сладость надежды на освобождение, и муку страха позорной смерти. Пронесся крик караульных; городской шум постепенно затихал. Сторожья выкрикивали часы. Часто во время моего пребывания в Англии прислушивался я к гулу этих отрывочных голосов; иногда я в бессонную ночь подходил к окну и смотрел, как старик в фуражке и большом воротнике, с кортиком и трещеткой, ковылял вдоль улицы. При этом мне всегда приходило в голову, что его крик возбудил бы совершенно различные чувства, прозвучав в комнате влюбленных, перед смертным ложем или в камере осужденного. Можно сказать, что в ночь перед побегом я слышал эти восклицания в камере осужденного. Наконец голос сторожья, похожий на бычий рев, прокричал:

– Час и темное сумрачное утро!

Мы все молча вскочили.

Я осторожно прокрался к крепостным зубцам (чуть было не написал к виселице!). Вахмистр, вероятно, боявшийся, чтобы я не переменял намерения, не отходил от меня и времянами шептал мне на ухо самые невозможные и нелепые успокоения. Наконец это стало для меня совершенно невыносимо.

– Оставьте меня в покое, пожалуйста, – сказал я. – Я не трус и не дурак. Ну откуда вы можете знать, что канат достаточно длинен? Вот я действительно узнаю это через десять минут.

Добродушный старик усмехнулся про себя и похлопал меня по спине.

Конечно, наедине с другом я мог выказать некоторое раздражение, но при всех товарищах должен был держаться самым спокойным и гордым образом. Когда мне пришлось выступить на сцену, я, кажется, великолепно сыграл свою роль.

– Ну, господа, – произнес я, – готова ли веревка – вот преступник.

Мы открыли подкоп, вбили кол, размотали веревку; я двинулся вперед, многие из товарищей хватили мою руку и пожимали ее; по правде говоря, я с удовольствием обошелся бы без этого выражения внимания.

– Приглядывайте за Клозелем, – шепнул я Лекло и пополз вниз на четвереньках, а затем взял в обе руки веревку и стал ногами вперед передвигаться через наш маленький туннель. Когда я почувствовал, что под моими ногами нет опоры, сердце у меня замерло; через секунду я уже болтался в воздухе, точно паяц. Я никогда не отличался особенным благочестием, но в это мгновение стал невольно шептать молитвы; тело мое покрылось холодным потом.

Вдоль всей веревки были сделаны узлы на расстоянии восьмидесяти дюймов один от другого, и неопытному человеку может показаться, что подобный спуск с высоты дело довольно легкое. Хуже всего было то, что я имел право подумать, будто веревка живое существо, и добавок существо, питающее ко мне особенную непримиримую ненависть. Она крутилась в одну сторону, останавливалась на мгновение и затем начинала вертеть меня в другую, точно вертел; она выскальзывала из-под ног как угорь, так что мне все время приходилось делать громадное усилие, чтобы держаться; временами раскачивавшаяся веревка ударяла меня о стену утеса; мне некогда было смотреть по сторонам, но даже напрягая зрение, вряд ли я увидел бы что-либо, кроме темноты. Вероятно, я временами останавливался, чтобы перевести дух, но делал это совершенно бессознательно. Все силы моего ума были до того сосредоточены на том, чтобы разжимать руку и затем снова хватать ею веревку, что я едва ли мог бы сказать, лезу я вверх или спускаюсь.

Вдруг я так сильно ударился об утес, что почти потерял сознание; когда ко мне вернулись силы, я с удивлением заметил, что почти лежу на скале, которая в этом месте спускалась не отвесной стеной, а под углом, и потому могла сильно поддерживать меня; одной ногой я прочно опирался на маленький выступ. Редко вздыхал я с таким наслаждением, как в эту минуту; я обхватил веревку и закрыл глаза, чувствуя восхитительное успокоение. Вскоре мне вздумалось удостовериться, какую часть моего ужасного пути я проделал. Я посмотрел вверх, там чернела только тьма тумана; я осторожно нагнулся вниз. В глубине на темном фоне мерцали тусклые огоньки; одни из них тянулись двойными линиями, точно вдоль улиц, другие были разбросаны и, очевидно, горели в отдельных домах. Я не понял, какое расстояние отделяло меня от земли, но сразу почувствовал тошноту и головокружение, и это заставило меня снова откинуться назад и закрыть глаза. Мне хотелось только одного, а именно: думать о чем-нибудь другом. Странно, мне это удалось; вдруг с моего сознания как бы спала завеса, и я увидел, каким безумцем был я, какими безумцами были все мы, я понял, что меня могли просто спустить со скалы на веревке, обвязанной вокруг моего тела, что мне совсем не представлялось необходимости слезать на руках, качаясь между небом и землей. И до этого мгновения я не сообразил такой простой вещи!

Я втянул воздух в легкие, крепко сжал веревку и снова пустился в путь. Главные опасности уже миновали, и мне не пришлось больше выносить сильных потрясений. Вскоре я, вероятно, миновал кусты пахучих левкоев, потому что меня охватило благоухание этих цветов, производя то ощущение особенной реальности запаха, какое вообще возбуждают в темноте ароматы, первым местом, которое я заметил, был выступ в скале, вторым – этот куст цветов. Я принялся вычислять промежутки времени: столько-то до выступа, столько-то до левкоев и ниже. Если я не был близок к подножию скалы, то, по моим расчетам, веревки оставалось уже очень немного; я чувствовал, что и силы мои подходят к концу. Меня охватывало желание бросить веревку, так как временами мне казалось, что я уже близок к земле и могу вполне безопасно соскочить вниз; временами же я представлял себе, что еще не успел достаточно спуститься, что поэтому мне не стоит продолжать даром тратить силы. Вдруг я дотронулся ногами до плоской земли и чуть не зарыдал в голос. С рук у меня сошла кожа, мужество мое истоши-

лось, и вследствие долгого напряжения и внезапной реакции все члены мои дрожали сильнее, нежели в припадке озноба, так что я с радостью снова ухватился за веревку.

Но мне не следовало поддаваться волнению: только благодаря милости Божией я счастливо спустился из крепости; теперь мне оставалось постараться помочь остальным моим товарищам. В моих руках было еще более сажени веревки; я стал смотреть, к чему бы привязать ее, но на неровной каменистой почве не росло ни одного растения, хотя бы куста дрока.

«Ну, – подумал я, – теперь начинается второе испытание, и, мне кажется, оно будет серьезнее первого. У меня не хватит силы натянуть веревку. Если же я не буду крепко держать ее, следующий из беглецов полетит в бездну. Вряд ли ему повезет так же, как мне. Я не вижу причины, которая помешала бы ему упасть, свалиться же он может только на одно место – мне на голову».

Туман несколько рассеялся, и, глядя вверх, я видел свет в одном из сараев; это дало мне возможность понять, с какой высоты упадет беглец и с какой ужасной силой он ударится об меня. Хуже всего было то, что мы согласились действовать без сигналов. Каждую минуту, сверяясь с часами Лекло, следующий пленник мог начать спускаться. Мне казалось, что я употребил около получаса на мое трудное путешествие, столько же времени, по моим расчетам, я простоял и внизу, натягивая веревку для моего товарища. Мне стало уже страшно – не открылся ли наш заговор, не захватили ли всех остальных? В голове проносилась мысль, что в этом случае я напрасно прожду всю ночь, прицепившись к веревке, точно рыба к крючку лесы, что утром меня найдут в этой нелепой позе. Смешная картина заставила меня невольно засмеяться. Вдруг веревка дрогнула, и я понял, что кто-то из пленников, выскользнув из туннеля, начал спускаться. Оказалось, что Готье (так звали моряка) заставил пустить его вслед за мною. Как только продолжительная тишина внушила ему уверенность в том, что веревка достаточно длинна, матрос позабыл все прежние доказательства, опередил всех других, и Лекло пустил его. Такой образ действий вполне согласовывался с характером этого человека, главный недостаток которого состоял в каком-то инстинктивном себялюбии. Однако ему пришлось довольно дорого поплатиться за то, что он получил позволение спуститься вторым: несмотря на все мои усилия, я не был в состоянии крепко держать веревку, и в конце концов Готье свалился на меня с высоты нескольких ярдов. Мы оба упали на землю. Как только моряк опомнился, он осыпал меня невероятными проклятиями и заплакал, чувствуя, что сломал себе палец, потом снова принялся браниться. Я попросил его замолчать и пристыдил, говоря, что позорно взрослому ныть как ребенку. Неужели он не слышит, что там вверху идет патруль? – спросил я его, прибавив, что шум от его падения, конечно, мог быть услышан. – Кто знает, не прислушиваются ли часовые ко всем звукам, не наклоняются ли они с зубцов в эту самую минуту, напрягая слух, – в заключение проговорил я.

Между тем патруль ушел, бегство не открылось; третий пленник спустился без труда; для четвертого это путешествие по веревке было, конечно, детской забавой; раньше, нежели внизу очутилось с десятков моих товарищей, я решил, что могу заняться собою, не нанося им ни малейшего ущерба.

Я знал их план. У них в руках была карта и альманах; они думали добраться до Грэнгмоута, где хотели украсть корабль. Даже предположив, что кража удастся, я не мог себе представить, как мои товарищи стали бы управляться с кораблем. Вообще они полагались на случайность, и только нетерпение пленников и невежество рядовых солдат могли вселять в них надежду на осуществление их невозможной затеи. Хотя раньше я относительно пленников вел себя по-товарищески, усердно делал подкоп, но благодаря всему, что передал мне адвокат, решил, спустившись со скалы, отделиться от них. Теперь я ничем не мог помочь им, как прежде, не был в состоянии заставить их слушаться моих советов. Итак, я ушел молча, не прощаясь ни с кем. Говоря правду, мне хотелось пожать руку Лекло, но силуэт последнего из спустившихся пленников сильно напоминал фигуру Клозеля, а со времени того, что произошло в

бараке, я совершенно не доверял ему, предполагая, что этот человек не остановится ни перед какой низостью; впоследствии оказалось, что я не ошибся.

Глава VII

Коттедж Суанстон

У меня было два желания. Прежде всего, мне, конечно, хотелось отдалиться от Эдинбургского замка, от самого города, не говоря уже о моих товарищах по заключению. Во-вторых, я намеревался всю ночь идти по направлению к югу и утром быть подле Суанстонского коттеджа. Я даже не предполагал, что стану делать, очутившись у дома моих друзей, и не особенно задумывался над этим вопросом, так как всю жизнь питал глубокое почтение к божествам, называемым «случайностью» и «обстоятельствами». Если возможно, подготавливайте все заранее, в тех же случаях, когда это немислимо, идите напролом, смотрите в оба и держите язык за зубами. Если человек обладает рассудком и недурной внешностью, дело в шляпе! Сперва мое путешествие было полно мелких приключений: я нечаянно заходил в сады, натыкался на дома и однажды имел несчастье разбудить целое семейство; человек, по моим предположениям бывший главой дома, даже высунулся из окна с мушкетом в руках.

Хотя я уже довольно давно расстался с моими товарищами, однако еще не успел уйти далеко от нашей тюрьмы. Вдруг мне стало ясно, что с беглецами произошло несчастье. В тишине ночи пронесся страшный вопль, вслед за тем послышался шум падения чего-то, и сейчас же со стены замка раздался мушкетный выстрел. Было страшно слышать, как в городе распространяется тревога. В крепости прозвучал барабанный бой, медленный звон колокола. Со всех сторон загрели трещотки сторожей. Даже в безлюдном квартале, по которому я блуждал, в домах зажигали огни и стали распахивать рамы; я слышал, как жившие поблизости одна от другой семьи через окна переговаривались между собой. Наконец окликнули и меня.

– Кто там? – крикнул громкий голос.

Я мог рассмотреть, что со мной говорил высунувшийся из окна крупный человек в большом ночном колпаке; так как я еще не успел отойти от его дома, то решил, что будет умнее ему ответить. Не в первый раз моя судьба зависела от правильности английского произношения, и всегда опасность меня вдохновляла, как вдохновляет завязанного игрока. Я набросил на себя нечто вроде пальто, сделанного из моего одеяла, с целью скрыть желтое одеяние и ответил:

– Друг!

– Из-за чего поднялась вся эта травля? – спросил меня мой собеседник, употребив незнакомое мне английское выражение для обозначения понятия о травле; однако, слыша шум в городе, я отлично понял, о чем спрашивает он.

– Право, не знаю, сэр, – проговорил я, – но предполагаю, что пленники бежали.

– Проклятые! – проговорил он.

– О, сэр, их скоро поймают, – возразил я, – побег заметили вовремя. Доброго утра, сэр!

– Однако вы прогуливаетесь поздно, – сказал мой собеседник.

– О, нет, сэр, – проговорил я со смехом, – скорее рано.

Мой ответ успокоил его, и я снова двинулся в путь, восхищаясь своим успехом.

Насколько я мог судить об этом, я шел именно в желаемом мною направлении. Скоро мне пришлось очутиться на улице, вдали которой раздавался звук трещотки сторожа; как мне кажется, в домах, стоявших справа и слева, была раскрыта шестая часть окон; люди во всевозможных ночных костюмах разговаривали между собой с трагическим видом. Тут мне снова пришлось пройти сквозь строй множества вопросов и все время слышать трещотку, которая звучала все ближе и ближе, но так как я шел необычайно скоро, так как я говорил, как человек хорошего круга, а фонари светили настолько тускло, что рассмотреть мое платье было нельзя, я еще раз счастливо избежал опасности. Один человек, правда, спросил меня, куда я иду в такое время, но я дал ему неопределенный, беспечный ответ, который, по-видимому, удовлетворил

его. В ту минуту, когда наконец мне удалось свернуть с этой опасной улицы, я заметил, что в противоположном ее конце появился фонарь ночного сторожа. Теперь я был в безопасности на темной большой дороге, вдали от фонарей, вдали от возможности встретить ночного сторожа. Однако не успел я пройти по шоссе и сотни ярдов, как со стороны на меня бросился какой-то человек. Я отскочил от него и остановился настороже, проклиная судьбу за то, что в руках у меня не было никакого оружия, и раздумывая, с кем я имею дело, с офицером или с ночным бродягой. Кого из двух я встретил бы охотнее – мне было трудно решить. Мой противник молча стоял передо мной; несмотря на густую темноту, я видел, что он слегка покачивался, наклонялся, точно придумывая, как бы повыгоднее напасть на меня. Наконец он сказал:

– Добрый друг (услышав эти слова, я насторожил уши), добрый друг, не сообщите ли вы мне одного маленького сведения, необходимого для меня? А именно: какая дорога ведет в Крэмонд?

Я засмеялся громко и весело, подошел к гуляке, взял его за плечи и, взглянув ему прямо в лицо, проговорил:

– Друг мой, мне кажется, я лучше вас самих знаю, что вам нужнее всего. Прости вас Господь за то, что вы напугали меня. Идите-ка в Эдинбург!

Я толкнул моего собеседника, и он пошел по указанному мной направлению с пассивной быстротой брошенного мячика. Скоро незнакомец исчез в темноте, идя туда, откуда я сам только что пришел.

Отделавшись от этого глупца, я продолжал свой путь, поднялся на отлогий холм, спустился в деревню, бывшую с другой его стороны, и наконец очутился на подъеме к Пентлэндам, недалеко от цели моего ночного странствия. Туман поредел; по мере того, как я поднимался, меня обступала все более и более светлая, звездная ночь; я ясно видел перед собой вершины Пентлэндских гор, за мною лежала долина форта и города, в котором я недавно томился в плену; пелена тумана окутывала их. На склоне горы я встретил только фермерскую повозку; стук ее колес донесся ко мне издали, становясь все громче и громче; тележка проехала мимо меня, когда только начал брезжить рассвет; она мелькнула, точно сонное видение, две фигуры, сидевшие в повозке, покачивались в такт рыси лошади; мне кажется, эти люди спали; судя по тому, что я рассмотрел шаль, покрывавшую голову и плечи одной из фигур, я понял, что это была женщина. Вскоре стало заметно светлее, туман отступал и клубами уходил вниз. Восток засиял, украсился светлыми полосами; замок, скала, шпили башен и трубы верхнего города мало-помалу выступали из мглы, поднимаясь как острова из постепенно отступавшего от них облака. Вокруг меня расстилалась лесистая местность, дорога, извиваясь, шла вверх, прохожих не было видно ни души, птицы чирикали, как мне казалось, чтобы согреться; ветви деревьев ударялись одна о другую, ветер срывал с них красные листья.

Совсем рассвело, но солнце еще не встало и было очень холодно, когда я увидел цель моего странствия. Из-за выступа холма виднелась только остроконечная крыша и труба Суанстонского коттеджа. Недалеко от него, немного повыше, стояла старая, выбеленная известкой большая ферма, окруженная деревьями; мимо нее каскадом падал ручей, дальше поднимались крутые горы, покрытые пастбищами. Я подумал о том, что пастухи встают очень рано, что кто-нибудь из них мог увидеть меня здесь, а тогда все мои проекты рушились бы, поэтому я воспользовался прикрытием высокой живой изгороди и, скрываясь в ее тени, прокрался до стены сада моих друзей. Спокойный старинный коттедж с первого взгляда казался беспорядочным собранием множества вышек и серых крыш. Он походил на крошечный полуразрушенный собор: от его главной двухэтажной части, увенчанной высокой крышей, во все стороны шли низкие пристройки, которые можно было принять за жилище капитула, за часовни, за церковные переходы. Сходство с собором дополнялось тем, что на доме красовались довольно безвкусные лепные украшения, вероятно, похищенные из какой-нибудь средневековой церкви. Вся усадьба словно притаилась, она не только пряталась между деревьями, но с той стороны, с

которой я подходил, ее еще закрывал выступ холма. Вдоль садовой стены росли высокие вязы и буки; первые были совершенно обнажены, на вторых же еще трепетало множество красных листьев; центр сада зарос чащей из лавров и остролистников, в их густой листве были проделаны арки, между растениями вились дорожки.

Я пришел к дому моих друзей, но от этого мне не стало легче. По-видимому, весь коттедж еще спал. Если бы я постучался, никто не поручился бы, что ко мне не вышла бы тетка с золотым лорнетом (а я без дрожи не мог думать об этой старухе!) или какая-нибудь ослица-служанка, которая при виде меня подняла бы крик. Выше на горе пастух, взбираясь на крутой склон, кликал своих собак, и я отлично понимал, что мне следовало скрыться как можно скорее. Конечно, чаща остролистников представляла собою хорошее убежище, но на садовой стене висела вывеска, которая была способна навести уныние на самого отважного смельчака, она предупреждала о петардах и людских капканах. Такие объявления не редкость в Великобритании, и впоследствии я узнал, что в трех случаях из четырех надписи эти имеют значение пушек, стоящих на разоруженных батареях. Однако в то время, о котором я рассказываю, это обстоятельство мне не было известно, да и знай я о нем, я все же не мог бы упустить из виду оставшийся шанс на опасность. Я охотнее вернулся бы в Эдинбургский замок, в мой уголок бастиона, нежели согласился бы попасть ногой в стальной капкан или же получить заряд автоматического мушкета. Оставалось надеяться только на одно, а именно на то, что Рональд или Флора раньше остальных обитателей коттеджа выйдут в сад. Чтобы воспользоваться этой случайностью, если она представится, я взобрался на изгородь в том месте, где густые ветви бука прикрывали ее, сел и стал ждать.

Солнце поднималось становилось все теплее и теплее. Я не спал ночь, пережил самые сильные физические и нравственные потрясения, а потому не следует удивляться, что я задремал, хотя это было до крайности неосторожно и глупо. Характерный звук лопаты, стучавшей о землю, разбудил меня; я взглянул вниз и увидел прямо под собою спину садовника, одетого в прочный рабочий жилет. Он то спокойно занимался своим делом, то, приводя меня в неописуемый ужас, выпрямлялся, потягивался, оглядывал сад, в котором, кроме него, никого не было, и брал большую понюшку табака. Моим первым побуждением было соскочить со стены не в сад, а на дорогу, но я сейчас же понял, что даже путь, по которому я прошел, отрезан для меня, так как на соседнюю поляну вышли стада овец, которых пасли помощники главного пастуха. Я уже говорил, на какие талисманы обыкновенно полагался, но в этом случае оба они были бессильны. Верхняя часть стены, покрытая осколками бутылок, место, не особенно подходящее для кафедры, и будь я красноречив как Пиит и очарователен как Ришелье – ни садовник, ни мальчишки-пастухи не обратили бы на мою речь ни малейшего внимания. Словом, я не мог придумать выхода из моего нелепого положения; мне оставалось только сидеть на стене и ждать, чтобы кто-нибудь из моих соседей взглянул вверх и забил тревогу.

Та часть стены, на которую я попал (в наказание за мои грехи), поднималась по меньшей мере на двенадцать футов над почвой сада; листья бука, прикрывавшего меня ветвями, были редки; это имело свою опасную сторону, но вместе с тем давало мне возможность видеть часть дорожек и (через арку плюща) зеленую площадку перед коттеджем, а дальше окна самого дома. Некоторое время никто не показывался в саду, кроме моего друга с заступом, потом я услышал звук растворившейся двери и вскоре увидел мисс Флору, одетую в утреннюю блузу. Она шла по дорожке, останавливаясь посмотреть на цветы, сама такая же прелестная, как они. Это был друг, подо мной же находилась неизвестная величина – садовник. Как дать о себе знать другу, не привлекая внимания садовника? Нечего было и думать о том, чтобы зашуметь. Едва смея дышать, я приготовился сделать движение рукой в то мгновение, когда молодая девушка взглянет в мою сторону, но мисс Флора смотрела всюду, кроме стены. Ее занимал самый жалкий кустик мокрицы, она любовалась вершинами гор, она, стоя почти у моих ног, говорила с садовником о самых скучных предметах, но ни разу ее глаза не устремились на верхушку

стены. Наконец она повернулась и пошла к дому, это привело меня в полное отчаяние, и я, отломив кусочек штукатурки, нацелился, бросил его и попал ей в шею. Молодая девушка схватилась рукой за слегка ушибленное место и стала осматриваться, как бы желая объяснить себе то, что произошло. Я нарочно раздвинул ветки, чтобы ей было легче заметить мою фигуру. Флора действительно увидела меня, слегка вскрикнула от удивления, но сейчас же подавила это восклицание.

Проклятый садовник выпрямился, сказав:

– Что с вами, мисс?

Присутствие духа молодой девушки поразило меня. Флора уже смотрела в противоположную от меня сторону.

– В артишоках какой-то ребенок, – сказала она.

– Казнь египетская! Я им задам! – свирепо крикнул садовник, и тотчас заковылял и исчез среди вечно зеленых листьев.

Тогда Флора повернулась и подбежала ко мне, протянув руки. На мгновение ее лицо вспыхнуло небесным румянцем, потом покрылось смертельной бледностью.

– Виконт де Сент-Ив! – произнесла она.

– Я знаю, что это страшная дерзость, – проговорил я, – но что же мне оставалось делать?

– Вы освободились? – спросила Флора.

– Да, если это можно назвать освобождением, – возразил я.

– Вам невозможно оставаться здесь! – воскликнула она.

– Я знаю, но куда же я пойду?

Флора сжала руки.

– Придумала! – произнесла молодая девушка. – Спуститесь по стволу бука, не следует, чтобы на стене остался ваш след. Скорее, скорее, до возвращения Роби. Я смотрю за курами, у меня ключ, вы должны спрятаться в курятнике.

Я сейчас же очутился рядом с ней. Мы оба быстро оглядели окна коттеджа и те садовые дорожки, которые были видны нам; никто не наблюдал за нами. Флора схватила меня за рукав и побежала. Нам некогда было обмениваться любезностями, необходимость спешить подгоняла нас. Мы бежали к ближайшему уголку сада; там в купе деревьев виднелся маленький двор, обнесенный проволочной решеткой, и сколоченный из досок домик. Я понял, что туда-то Флора и думала спрятать меня. Молодая девушка, не говоря ни слова, втолкнула меня в курятник; птицы бросились в разные стороны. Через мгновение я уже был заперт с полудюжиной кур. В полусумраке дощатого сарая наседки сурово смотрели на меня, точно попрекая за страшный проступок. Без сомнения, в курах есть что-то пуританское, хотя в их поведении я не вижу ничего более праведного, нежели в поступках их соседей. Но подите, поймите английскую наседку!

Глава VIII

Курятник

По крайней мере, полчаса провел я в обществе этих обескураживающих двуногих; я был один со своими размышлениями и страданиями. Мои ободренные руки сильно болели, и я не мог ничего сделать, чтобы уменьшить боль; мне хотелось есть и пить, но мне неоткуда было ждать еды или питья. Я страшно устал и не находил, куда бы сесть. Конечно, я мог бы опуститься на пол, однако, это казалось мне отвратительным. Послышались шаги, и настроение мое исправилось. Ключ заскрипел в замке, и в курятнике показался мастер Рональд; он запер за собой дверь и прислонился к ней спиной.

– Ну, признаюсь! – проговорил мальчик и с мрачным видом покачал головой.

– Я знаю, что это дерзость, – произнес я.

– Адская неприятность, – ответил Рональд. – Я поставлен в крайне затруднительное положение.

– А что вы скажете о *моем* положении? – спросил я.

По-видимому, мой вопрос совершенно смутил мальчика. Рональд смотрел на меня с тем выражением, которое служит характерной чертой юности и невинности. Мне хотелось засмеяться, но я не был бесчеловечен до такой степени.

– Я в вашей власти, – произнес я, делая легкое движение рукой. – Поступите со мной так, как сочтете справедливым.

– Да! – воскликнул Рональд. – Если бы я знал, что нужно делать!

– Видите ли, если бы вы получили чин офицера, вопрос стоял бы иначе. Собственно говоря, вы еще не сражающийся человек, а я перестал быть воином, потому мне кажется, что теоретически мы находимся в положении двух частных людей, а в этом случае дружба всегда берет перевес над законом. Помните, это только теоретическое замечание. Бога ради, не подумайте, что я хочу навязать вам свое мнение. С войной связано множество неприятных мелких вопросов, которые каждый порядочный человек должен решать по своему собственному разумению. Если бы я был на вашем месте...

– Ну, что сделали бы вы тогда?

– Честное слово – не знаю, – проговорил я. – Вероятно, колебался бы так же, как вы.

– Вот что я скажу вам, – снова произнес мальчик. – У меня есть один родственник, и меня заботит мысль о том, что бы он сказал. Это генерал Грэгем из Лайнедоча, сэра Томас Грэгем. Я мало знаком с генералом, но преклоняюсь перед ним, мне кажется, больше, чем перед Господом Богом.

– Я сам восхищаюсь им, – заметил я. – Да, у меня есть достаточная причина глубоко чтить его. Я дрался с ним, был побежден и бежал. *Veni, victus sum, evasi.*

– Как? – воскликнул Рональд. – Вы были при Бароссе?

– Был там и вернулся, а это немногие могут сказать. Славное было дело, жаркое; испанцы вели себя отвратительно, как всегда в открытом поле. Маршал герцог Беллуно выглядел дураком, и не в первый раз; на долю вашего друга, сэра Томаса, выпал наилучший жребий, если только можно говорить о лучшем жребии в данном случае. Он храбрый, владеющий быстрой сообразительностью офицер.

– Ну, так вы меня поймете, – проговорил мальчик. – Мне хочется нравиться сэру Томасу. Как поступил бы он на моем месте?

– Слушайте, я вам расскажу об одном истинном происшествии; оно случилось как раз во время боя при Чиклане, или, как вы называете, при Бароссе. Я был в восьмом линейном полку, мы потеряли знамя первого батальона, наиболее пострадавшего, но это вам дорого обошлось.

Не стоит даже считать, сколько натисков отразили мы. Наконец ваш 87 полк стал подступать очень тихо, но и очень уверенно; перед солдатами ехал седовласый офицер, он держал шляпу в руках и спокойным голосом отдавал приказания своим батальонам. Наш майор, Виго-Руссильон, прищпорил лошадь и поскакал вперед, чтобы ударом сабли убить командира, но, увидав перед собой очень красивого старика, разговаривавшего так спокойно, точно он сидел в кафе, майор не решился поразить его, повернул лошадь и ускакал обратно. Вы понимаете, что в течение одного мгновения они были очень близко друг от друга и заглянули один другому в глаза. Вскоре после этого майора ранили, взяли в плен и перевезли в Кадис. В один прекрасный день Виго-Руссильону передают, что сэр Томас Грэгем желает его видеть. Генерал берет майора за руку и говорит: «Кажется, раз на поле битвы мы стояли лицом к лицу!». Это был тот седовласый командир!

– А! – воскликнул мальчик с пылающими глазами.

– И вот что самое важное, – продолжал я, – с этого дня сэр Томас начал посылать майору обед в шесть блюд с собственного своего стола.

– Это прекрасно! Прекрасная история! – заметил Рональд. – Между тем тут дело не совсем такого рода.

– Охотно соглашаюсь, – сказал я.

Мальчик глубоко задумался.

– Ну, я возьму это на мою ответственность! – вскрикнул он. – Может быть, я совершаю государственную измену (а за такое преступление, помнится, полагается позорное наказание), но будь я повешен, если у меня повернется язык выдать вас.

Я был тронут не меньше Рональда.

– Право, мне почти хочется попросить вас выдать меня, – сказал я. – Я поступил дурно, нечестно, придя к вам. Вы – благородный враг и будете благородным солдатом.

В моей голове блеснула очень счастливая мысль: оказать любезность воинственному юноше; я вытянулся и отдал ему честь по-военному.

Рональд смутился, лицо его вспыхнуло.

– Ну, хорошо, я пойду принесу вам чего-нибудь поесть, только не ждите шести блюд. – Он улыбнулся. – Я принесу то, что мы достанем контрабандой. Видите ли, тетушка мешает нам.

Юноша ушел и снова запер меня с негодующими курами.

Вспоминая об этом мальчике я всегда улыбаюсь, но узнав, что и читатель тоже улыбнулся, я почувствую стыд. Если мой сын будет походить на Рональда в его лета, я сочту это счастьем для себя и несчастьем для Франции.

Однако когда вместо Рональда вошла его сестра, я не опечалился. Флора принесла мне несколько корочек хлеба и кувшин молока, которое она превкусно приправила виски по шотландскому обычаю.

– Мне жаль, – сказала молодая девушка, – что я не могу предложить вам ничего другого, но я боялась распорядиться иначе. Нас немного, и тетя строго смотрит за прислугой. Я налила в молоко немножко виски – так оно полезнее; если к этому прибавить несколько яиц, то образуется нечто вроде кушанья. Сколько яиц нужно вам к молоку? Остальные мне придется отнести к тетке, под этим предлогом я и пришла сюда. Я думаю оставить вам три или четыре яйца. Сумеете вы сбить их в молоке или хотите, чтобы я сделала это за вас?

Желая задержать Флору на несколько лишних минут, я показал ей свои окровавленные ладони. При виде их девушка громко заплакала.

– Моя дорогая мисс Флора, вам не удалось бы сделать яичницы, не разбивая яиц, – сказал я, – а убежать из Эдинбургского замка не безделица! Один из наших, думается мне, убит.

– Да и вы-то бледны как полотно, – произнесла Флора, – и еле держитесь на ногах. Я постелю мою шаль в уголке; сидите, я же соблю яйца. Посмотрите, я принесла и вилку. Правда, я сумела бы заботиться об якобитах или ковенантерах в старые времена! Сегодня вечером у вас

будет кушанье получше: Рональд принесет из города все необходимое. У нас достаточно денег, хотя мы и не можем распорядиться съестными припасами. Ах, если бы домом управляли мы с Рональдом, вам не пришлось бы ночевать в этом сарае! Брат так восхищается вами.

– Дорогой друг, – проговорил я, – не отягощайте меня еще новой милостью! Я с восторгом принимал ее из этой руки, когда она была мне необходима, но теперь я не нуждаюсь в подавании. Если я и терплю недостатки в чем-либо, а мне недостает очень многого, то уж, конечно, не в деньгах.

Я вынул связку банковских билетов и взял бумажку, лежавшую сверху; это был чек на десять фунтов, подписанный знаменитой личностью – Абрагамом Ньюлэндсом.

– Сделайте мне одолжение, которое я сделал бы для вашего брата, если бы мы с ним поменялись ролями, возьмите эти деньги на расходы. Мне понадобится не только пища, но и платье.

– Положите деньги на пол, – сказала она. – Я не могу перестать бить яйца.

– Вы не обиделись? – вскрикнул я.

Она ответила мне взглядом, который сам по себе был наградой и, по-видимому, сулил мне самые небесные надежды на будущее. В нем крылась тень упрека и столько откровенной задушевности, что я не был в силах выговорить ни слова. Я только смотрел на Флору, пока она приготавливала молоко.

– Ну, – сказала молодая девушка, – теперь попробуйте-ка это.

Я отведал приготовленное ею кушанье и поклялся, что оно вкусно, как нектар. Флора собрала яйца и присела передо мною, чтобы посмотреть, как я ем. В эту минуту в красивой высокой девушке было что-то материнское, восхищавшее меня. Я до сих пор удивляюсь своей сдержанности.

– Какого рода платье вы желаете иметь? – спросила Флора.

– Приличное для дворянина, – ответил я. – Не знаю, правильно или нет, но я думаю, что я лучше всего могу сыграть джентльмена. Мистер Сент-Ив (я буду путешествовать под этим именем) представляется мне чем-то вроде театральной личности, и его внешний вид, конечно, должен соответствовать всему остальному.

– А между тем в нарядном костюме есть одно неудобство, – сказала она. – Если бы вы оделись в простое платье, было бы все равно, впору вам оно или нет. Но платье джентльмена – другое дело, оно должно хорошо сидеть, это необходимо! Особенно при ваших... – Флора на мгновение остановилась, – при ваших, по нашим понятиям, выдающихся манерах.

– Бедные мои манеры! – сказал я. – Но, мой дорогой друг Флора, роду человеческому постоянно приходится страдать от того, что ему кажется выдающимся, заметным. Видите ли, сами вы были очень заметны даже в толпе, приходившей в замок посмотреть на пленников.

Я побоялся спугнуть посетившего меня ангела и сейчас же, без передышки прибавил несколько указаний относительно цвета материи моего будущего костюма.

Глаза Флоры широко раскрылись.

– О, мистер Сент-Ив, – вскрикнула она, – ведь теперь так следует называть вас, я не говорю, что выбранные вами цвет и покрой неприличны, но мне кажется, они непригодны для путешествия! Боюсь... – Флора слегка засмеялась, – боюсь, что подобный костюм придаст вам слишком щегольский вид.

– А разве я не щеголь?

– Начинаю это подозревать.

– Я вам все объясню. Подумайте, как долго я представлял из себя посмешище. Неужели вы не согласитесь со мною, что, может быть, самой горькой стороной моей жизни в плену была одежда? Посадите меня в заключение, закуйте в цепи, если вам угодно, только позвольте мне оставаться самим собой. Вы не подозреваете, что значит быть маскарадной фигурой среди врагов.

Последние слова я произнес с большой горечью.

– Право, вы несправедливы! – вскрикнула Флора. – Вы говорите так, точно кому-нибудь приходило на ум смеяться над вами! Никто не думал насмеяться над вашим несчастьем. Всем нам было глубоко жаль вас. Даже тетке; конечно, она порой вела себя бестактно... Но послушали бы вы, что она говаривала дома! Тетушка принимала в вас такое участие. Каждая заплатка на вашей одежде опечаливала нас. Мне всегда казалось, что ваше платье должна была бы чинить рука сестры.

– У меня нет и не было сестры, – проговорил я. – Но так как вы говорите, что я никогда не представлялся вам смешным...

– О, мистер Сент-Ив, никогда, ни одной минуты. Было так печально видеть джентльмена...

– Одетого в костюм арлекина и просящего милостыню? – подсказал я.

– Нет, видеть джентльмена в несчастьи, которое он переносил с полным достоинством.

– Разве вы, мой прелестный неприятель, не понимаете, что даже если бы все было так, как вы говорите (то есть, если бы шутовской наряд не казался вам смешным), мне ради себя, ради моей страны, ради вашей доброты – должно было бы только еще больше хотеться, чтобы вы увидели человека, которому помогали, в одежде, соответствующей положению, назначенному ему Богом? Разве вы не понимаете, что я хотел бы, чтобы при воспоминании об этом человеке в вашем воображении вставал какой-нибудь другой образ, кроме образа небритого нищего в плохо сидящей на нем одежде серого цвета?

– Вы слишком много думаете о платье, – сказала она, – я не такая девушка.

– Боюсь, что я-то такой человек, – сказал я. – Но не судите меня слишком строго. Я только что говорил о воспоминаниях. В моей душе кроется много этих прелестных сокровищ, с которыми я не расстанусь, пока не умру или не потеряю способности мыслить. Я помню великие деяния, лелею воспоминания о высоких доблестях, о милосердии, о подвигах веры и прощения. Но рядом с этим во мне также живет память о мелочах. Мисс Флора, забыли ли вы тот ветреный день, в который я впервые увидел вас? Не хотите ли, я расскажу, как вы были одеты?

Мы стояли, Флора уже держалась за ручку двери. Может быть, мысль о том, что она сейчас уйдет, придала мне смелости и принудила воспользоваться оставшимися мгновениями нашего свидания. Во всяком случае, было ясно, что мои последние слова заставили ее поторопиться уйти.

– О, вы слишком романтичны, – сказала молодая девушка со смехом.

После этого мое солнце закатилось, моя очаровательница упорхнула, и я снова остался в полумраке, один с насекомыми.

Глава IX

Четвертый собеседник нарушает веселье

Остаток дня я проспал в уголке курятника на шали Флоры и проснулся от того, что мне в глаза блеснул свет. Я вздрогнул и, задыхаясь, поднял веки (мне только что снилось, что я все еще вишу над бездной); надо мной наклонялся Рональд с фонарем в руке. Оказалось, что уже ночь, что я проспал около шестнадцати часов подряд, что Флора приходила в курятник с тем, чтобы загнать кур в сарайчик, а я и не слышал этого. Мысленно я задал себе вопрос, остановилась ли молодая девушка посмотреть на меня или нет? Пуританки-куры спали непробудным сном, от обещания Рональда накормить меня ужином мне стало так весело, что я иронически пожелал хохлаткам доброй ночи. Рональд провел меня через сад и бесшумно впустил в свою спальню, помещавшуюся в нижнем этаже коттеджа. Там я нашел мыло, воду и новое платье; мой юный хозяин недоверчиво подал мне бритву. Сознание того, что я могу бриться, не чувствуя себя в зависимости от тюремного цирюльника, послужило для меня источником большой, хотя, быть может, и детской радости. Мои волосы были страшно длинные, но я благоразумно воздержался от попытки собственноручно остричь их; они вились от природы, а потому я думал, что моя прическа не особенно безобразна. Платье оказалось очень хорошо: красивый жилет, панталоны из тонкого казимира и сюртук сидели на мне превосходно. Посмотревшись в зеркало и увидев в нем отражение ветреного щеголя, я послал ему воздушный поцелуй.

– Друг мой, – спросил я у Рональда, – нет ли у вас духов?

– Ах, ты, Господи, нет! – ответил Рональд. – Зачем вам духи?

– Это важная вещь в походе, но я могу обойтись и без них.

Рональд опять-таки бесшумно ввел меня в маленькую столовую со сводчатыми окнами. Ставни были заперты, лампа горела тускло, в самом свете ее чувствовалось что-то преступное; красавица Флора шепотом поздоровалась со мной, а когда я сел за стол, молодые люди стали угощать меня с такими предосторожностями, которые могли бы показаться чрезмерными.

– Она спит там, наверху, – заметил мальчик, указав на потолок.

Мне самому стало не совсем по себе, когда я узнал, что место отдыха золотого лорнета так близко от меня.

Милый юноша Рональд принес из города превкусный мясной паштет, и я с удовольствием увидел рядом с этим кушаньем графин действительно превосходного портвейна. Я ел, а Рональд рассказывал мне городские новости: в Эдинбурге целый день толковали о нашем бегстве; то войска, то отдельные верховые разыскивали бежавших, но, по последним сведениям, никто из пленников не попался. Общество отнеслось к бежавшим очень благосклонно, все прославляли наше мужество, многие выражали сожаление о том, что у нас так мало вероятности добраться до Франции. Сорвался с веревки Сомбреф, крестьянин, он спал в другой части замка; таким образом я узнал, что все бывшие мои товарищи бежали.

Вскоре мы заметным образом перешли к разговору о других предметах. Невозможно придумать достаточно сильных выражений, чтобы передать то удовольствие, которое испытывал я, сидя в приличном платье за одним столом с Флорой и беседуя с нею в качестве свободного человека, по своему усмотрению располагающего материальными средствами и дарованными ему небом умственными преимуществами. А мне нужна была сообразительность, чтобы в одно и то же время Рональду казаться рыцарем, ревностным воителем, а Флоре человеком, в голосе которого звучала та же глубокая сентиментальная нота, которую она слышала уже раньше в моих речах. Иногда людям выдаются необычайно счастливые дни, когда их пицеварение, ум, возлюбленные – все, точно сговорившись, балует их, когда даже самая погода будто старается угодить им. О себе скажу только, что в эту ночь я превзошел все, чего ожидал от себя,

и имел счастье восхитить моих хозяев. Мало-помалу молодые люди позабыли свои ужасы, я стал менее осторожен. Наконец нас вернуло на землю одно происшествие; мы вполне могли бы предвидеть катастрофу, но тем не менее она поразила нас. Я наполнил стаканы и шепнул:

– Предлагаю тост или, лучше сказать, три тоста, но настолько связанные между собою, что их невозможно разделить. Прежде всего, я хочу выпить за храброго, а потому и великодушного неприятеля. Он увидел, что я безоружен, что я беспомощный беглец. Точно лев, он не захотел легкой победы. Имея полную возможность отомстить мне, он предпочел дружески обойтись со мной. Затем я предложил бы выпить за мою прекрасную и нежную неприятельницу, которая встретила меня в заключении и ободрила своим бесценным сочувствием. Все, что она сделала, я знаю, было сделано ею во имя милосердия, и я только прошу (почти не надеясь на успех моей просьбы), чтобы это милосердие оказалось милосердным до конца. К произнесенным двум тостам я хочу присоединить (в первый и, вероятно, в последний раз) третий: выпейте за здоровье... боюсь, что следует сказать – в память человека, сражавшегося не всегда без успеха против ваших солдат, человека, явившегося сюда побежденным только за тем, чтобы почувствовать себя снова побежденным честной рукой одного, незабвенными глазами другой.

Вероятно, я временами несколько возвышал свой голос, вероятно, Рональд, которому мое присутствие не придало особенного благоразумия, поставил на стол стакан с некоторым звоном, во всяком случае, по какой бы то ни было причине, но едва успел я окончить свой спич, как над нашими головами послышался стук. Казалось, какое-то тяжелое тело спустилось с возвышения (вероятно, с кровати на пол). Никогда в жизни я не видел ужаса, выраженного яснее, нежели тот, что отразился в чертах Флоры и Рональда. Они предполагали провести меня в сад или спрятать под диваном, стоявшим у стены. Шаги приближались, было ясно, что пробраться в сад поздно, от второго же предложения я с негодованием отказался.

– Мои дорогие друзья, – сказал я, – умрем, но не будем смешными.

Эти слова еще дрожали на моих губах, когда отворилась дверь и на пороге показалась памятная мне фигура с милым моему сердцу золотым лорнетом. В одной руке старуха держала свечу в широком подсвечнике, в другой – пистолет, с которым она обходилась уверенно, точно драгунский солдат. Шаль плохо скрывала целомудренный ночной пеньюар старой девы; на голове страшной тетки Флоры красовался ночной чепец почтенных размеров. Войдя в комнату, старуха сейчас же поставила свечу на стол и положила рядом с ней пистолет, так как она, по-видимому, убедилась, что эти вещи не нужны ей. Она осмотрелась взглядом, бывшим красноречивее самых ужасных проклятий, потом пронзительным голосом и с намеком на поклон спросила меня:

– С кем я имею удовольствие говорить?

– Сударыня, – ответил я, – я счастлив, что мне пришлось увидеть вас. Рассказывать все по порядку было бы слишком долго... Конечно, я очень счастлив, что вижу вас, но, говоря по правде, я совершенно не ожидал свидания с вами. Я уверен... – Тут я почувствовал, что решительно ни в чем не уверен. Снова повторив прежнюю попытку говорить, я пробормотал:

– Я имею честь... – но в это мгновение я заметил, что имел честь до крайности смутиться. Тогда я решил прямо отдать себя в руки милосердия старухи и произнес: – Сударыня, я буду с вами вполне откровенен: вы были очень милостивы и сострадательны к пленным французам; перед вами один из их числа, и если моя наружность не изменилась слишком сильно, вы, может быть, узнаете во мне того «чудака», который имел счастье не раз вызывать на вашем лице улыбку.

Старуха продолжала смотреть на меня через свой золотой лорнет; фыркнув самым немилорлюбивым образом, она обернулась к племяннице и спросила:

– Флора, как попал он сюда?

Виновные начали в два голоса объяснять причину моего присутствия в их доме, но этот дуэт скоро замер, сменившись жалким молчанием.

– Мне кажется, что вы, по крайней мере, должны были хоть предупредить вашу тетку! – снова фыркнула старуха.

– Сударыня, – возразил я, – они и хотели сказать вам о моем появлении, но не исполнили своего намерения только по моей вине; я уговорил их не тревожить вашей дремоты и попросил отложить церемонию моего формального представления вам до утра.

Тетка Флоры смотрела на меня с нескрываемым недоверием; я не знал, чем уничтожить в ней это чувство, и вместо всяких уверений грациозно поклонился.

– Пленные французы хороши на своем месте, – сказала она, – но я не считаю, что их место в моей столовой.

– Сударыня, – ответил я, – я не нанесу вам обиды, сказав, что нет места (исключая Эдинбургского замка), из которого я ушел бы с большим удовольствием, нежели из вашей столовой.

В эту минуту, к своему большому успокоению, я заметил, что железное лицо старухи в одно мгновение смягчилось намеком на улыбку; впрочем, тетка Флоры сейчас же подавила усмешку.

– Не позволите ли спросить, как вас зовут?

– Честь имею рекомендоваться: виконт Анн де Сент-Ив.

– Месье виконт, – проговорила она, – право, мне кажется, вы делаете нам, людям простым, слишком много чести.

– Будем говорить серьезно, хотя бы в течение нескольких минут. Что оставалось мне делать? Куда мог я идти? Неужели вы можете гневаться на этих добрых детей за то, что они сжалились над таким несчастным человеком, как я? Ваш покорный слуга не страшный искатель приключений, к которому выходят с пистолетами и (тут я улыбнулся) со свечами в широких подсвечниках. Я просто молодой джентльмен, поставленный в ужасное положение; меня разыскивают повсюду, и я желаю только скрыться от моих преследователей. Ваш характер мне известен – я прочел его в ваших чертах (я внутренне содрогнулся, произнеся эти смелые слова). В теперешнее время, может быть, в самую эту минуту, во Франции есть английские пленники, страшно несчастные. Может быть, кто-нибудь из них так же, как я, преклоняет колени, берет руку, которая имеет возможность скрыть его, помочь ему; может быть, он прижимает ее к своим губам, как я...

– Вот прекрасно-то! – крикнула старуха. – Имейте дело с людьми! Видели вы что-либо подобное? Ну, скажите мне, мои дорогие, что нам делать с ним?

– Вышвырните его вон, – проговорил я, – выгоните бессовестного малого, и чем скорее, тем лучше. А если ваше доброе сердце укажет вам – помогите ему, объясните, по какой дороге должен он идти!

– Что это за паштет? – вдруг вскрикнула старая дева пронзительным голосом. – Откуда этот паштет, Флора?

Мои несчастные и почти совершенно уничтоженные сообщники молчали.

– Это мой портвейн? – продолжала она. – Ну, даст ли кто-нибудь мне рюмку моего портвейна?

Я поспешил услужить старухе. Она взглянула на меня через край рюмки со странным выражением на лице и спросила:

– Надеюсь, вам понравилось это вино?

– Я нахожу, что оно превосходно, – ответил я.

– Еще мой отец спрятал его. Немногие знали больше толку в портвейне, нежели мой отец, упокой его Господь!

Старуха села на стул с очень неуспокоительным для меня решительным видом.

– Вы желаете направиться в какую-нибудь определенную сторону? – спросила она.

– О, – ответил я и также сел. – Не считайте меня бродягой. У меня есть друзья, и чтобы увидеться с ними, мне необходимо только выбраться из Шотландии; деньги на дорогу у меня есть. – С этими словами я вынул пачку банковских билетов.

– Английские? – спросила старуха. – Их не очень-то охотно принимают в Шотландии. Наверно, какой-нибудь глупый англичанин дал вам их. Сколько их тут?

– Право, не знаю, я не смотрел! – ответил я. – Но делу можно помочь.

Я сосчитал бумажки: у меня было десять банковских билетов по десяти фунтов, все на имя Абрагама Ньюлэндса, и пять билетов стоимостью в одну гинею на английских банкиров.

– Сто двадцать шесть фунтов пять шиллингов, – заметила старуха. – И вы носите такую сумму, даже не потрудившись сосчитать деньги! Если вы не вор, то, согласитесь, очень похожи на вора.

– А между тем, сударыня, эти деньги принадлежат мне законно.

Она взяла одну из бумажек, поднесла ее к глазам и проговорила:

– Хотела бы я, чтобы кто-либо сказал мне, возможно ли узнать, откуда взялся этот билет.

– Полагаю, невозможно, но если бы я и ошибался, то это не имело бы значения, – ответил я. – Со всегдашней вашей проницательностью вы угадали правильно. Эти деньги мне принес англичанин. Их через своего английского поверенного прислал мне мой внучатый дядя, граф де Керуэль де Сент-Ив, насколько я знаю, богатейший французский эмигрант в Лондоне.

– Мне ничего не остается, как поверить вам на слово.

– И я надеюсь, сударыня, что вы не усомнитесь в том, что я говорю правду.

– Ну, – сказала она, – в таком случае дело можно сладить, я учту один из этих билетов в пять гиней и дам вам серебра и шотландских бумажек, удержу только баланс. Этого вам хватит до границы. Далее же, месье виконт, вам придется самому заботиться о себе.

– Позвольте мне только почтительнейше спросить: неужели этой суммы хватит мне на такое длинное путешествие?

– Но вы не дослушали еще всего, что я хотела сказать вам, – ответила старуха. – Если вы не считаете себя чересчур важным господином, которому неприлично путешествовать с простыми пастухами-погонщиками, я помогу вам, так как у меня под рукой все, что надо. Прости, Боже, старую изменницу! На ферме ночуют два погонщика, завтра, вероятно, на рассвете, они тронутся в путь. Мне кажется, вам следует идти с ними.

– Бога ради, не считайте, что у меня такой женственный характер! – с жаром заметил я. – Старого солдата Наполеона нельзя подозревать в малодушии. Скажите мне, зачем все это? К чему мне идти в обществе рекомендуемых вами превосходных джентльменов?

– Мой дорогой сэр, – возразила старуха, – вы не вполне понимаете ваше положение и должны предоставить все дело в руки людей, понимающих его. Я убеждена, что вы даже никогда не слышали о шотландских погонщиках скота, их дорогах, и, конечно, уж не я стану сидеть с вами всю ночь, рассказывая вам о них. Достаточно, что я (к моему стыду!) взялась помочь вам и советую идти по одной из пастушьих тропинок. Рональд, – продолжала она, – беги наверх к пастухам, разбуди их, заставь встать, да втолкуй Симу, чтобы он перед уходом зашел ко мне.

Рональд без малейшего неудовольствия расстался со своей тетушкой и ушел из коттеджа так поспешно, что его удаление походило больше на бегство. Старуха обратилась к своей племяннице с вопросом:

– А мне хотелось бы знать, что мы будем с ним делать ночью?

– Мы с Рональдом думали поместить виконта в курятник, – ответила ярко вспыхнувшая Флора.

– А я скажу тебе, что он не будет ночевать в курятнике, – возразила тетка. – Курятник – это мило! Если уж ему суждено быть нашим гостем, то он не будет спать в каком-то курятнике. Твоя комната удобнее всех остальных в этом случае, и виконт переночует в ней, если согласится занять ее. Что же касается тебя, Флора, ты будешь спать со мной.

Такт и осторожность старой дуэньи восхитили меня. Без сомнения, не мне было возражать ей. Прежде чем я успел опомниться, я очутился один с тусклой свечой, которую, конечно, не считал очень милым товарищем; я смотрел на ее нагар в настроении, занимавшем середину между торжеством и печалью. Относительно бегства все шло хорошо, но, увы, того же нельзя было сказать о моих любовных делах. Я виделся с Флорой наедине, говорил с нею без свидетелей, я был смел, и она недурно отнеслась ко мне; я видел, как ее лицо меняло краски, наслаждался непритворной добротой ее глаз, но вдруг на сцене появилась эта апокалипсическая фигура в ночном чепце, с пистолетом в руке, и одним своим появлением разлучила меня с любимой девушкой. Благодарность и восхищение, пробужденные во мне поведением старухи, боролись с естественным чувством досады на нее. Очутившись в доме старой девы после полуночи, я, конечно, мог ей показаться дерзким человеком, желавшим действовать исподтишка, мог возбудить ее самые худшие подозрения (я не скрывал этого от себя). Между тем старуха хорошо отнеслась к моему поступку. Наша встреча заставила ее проявить столько же великодушия, сколько и мужества; я боялся, чтобы вдобавок не оказалось, что и проникательность старой девы стоит на одном уровне с этими качествами. Без сомнения, Флора вынесла много испытующих взглядов, и, без сомнения, они смутили ее. При данных условиях мне оставалось только воспользоваться превосходной постелью, постараться заснуть как можно скорее, встать рано и надеяться на какую-нибудь счастливую случайность. Сказав так много, не сказать Флоре еще больше, уйти после неполного прощания я не мог.

Я убежден, что моя благодетельная неприятельница всю ночь стерегла меня. Задолго до рассвета она пришла ко мне со свечой, разбудила меня, положила передо мной отвратительную одежду и попросила меня свернуть мое платье (совершенно непригодное для путешествия) в узелок. С горьким ропотом оделся я в костюм, очевидно, местного изделия: материя, из которой он был сшит, оказалась не тоньше грубой холстины; платье сидело на мне не лучше савана; когда я вышел из комнаты, в которой провел ночь, то увидел, что мой дракон приготовил для меня прекрасный завтрак. Старуха села за стол на главное место и стала разливать чай; пока я закусывал, она разговаривала. В каждом ее слове слышался здравый смысл, но ни в речах, ни в манерах старухи не было ни грации, ни прелести. Часто, часто сожалел я, что не Флора была со мной. Часто, часто сравнивал я тетку с ее очаровательной племянницей, и сравнение бывало не в пользу первой! Да, моя собеседница не блистала красотой, зато оказалось, что она отлично позаботилась о моих интересах. Старуха уже переговорила с моими будущими спутниками, и история, придуманная ею для них, мне понравилась. Я молодой англичанин, бегущий от полиции, мне нельзя оставаться в Шотландии, необходимо как можно скорее окольными путями достигнуть границы и тайно перебраться через нее.

– Я очень хорошо отзывалась о вас, – сказала тетка моих друзей, – и надеюсь, что вы оправдаете мои слова. Я сказала погонщикам, что вы не сделали ничего дурного, что просто вас из-за долгов собираются посадить в яму (кажется, я употребила настоящее выражение)!

– Дай-то Боже, чтобы вы ошиблись, сударыня, – заметил я. – Не скажу, чтобы меня было легко испугать, но вы сами согласитесь, что в звуке слова, произнесенного вами, кроется что-то варварское, способное поразить ужасом бедного иностранца.

– Яма – название, которое встречается в шотландских законах. Честному человеку нечего пугаться его, – произнесла старуха. – Однако у вас очень ветреный ум, вам вечно хочется шутить! Надеюсь, вы никогда не раскаетесь в этом.

– Хотя я и говорю шутливо, но не думайте, прошу вас, что я не способен глубоко почувствовать, – ответил я. – Вы вполне покорили меня своей добротой. Я отдаю себя в полное ваше распоряжение и, поверьте, при этом чувствую к вам истинную нежность. Прошу вас считать меня самым преданным вашим другом.

– Хорошо, хорошо! – сказала старуха. – Вот и ваш преданный друг погонщик. Вероятно, он торопится; я же не успокоюсь, пока вы не увидите отсюда, и я не вымою посуды так, чтобы,

когда проснется моя служанка, все уже было в порядке. Слава Богу, когда она спит, то ее трудно разбудить!

Утренний свет начал придавать голубой оттенок листве садовых деревьев; свеча, с которой я завтракал, бледнела перед ним. Старуха встала; волей-неволей мне пришлось последовать ее примеру. Все время я ломал голову, придумывая какой-нибудь способ сказать слова два Флоре наедине или написать ей записку; окна были открыты настежь, как я предполагал, чтобы развеять все следы завтрака. На лужке, лежавшем против дома, показался мастер Рональд; моя старая колдунья высунулась из окна и заговорила с ним, сказав:

– Рональд, кто прошел вдоль стены, не Сим?

Я ухватился за представившийся мне случай; как раз за спиной старухи были перо, чернила и бумага. Я написал: «*Я люблю вас*», но не успел прибавить ни одного слова, не успел и зачеркнуть написанного, как уже снова очутился под огнем взгляда, смотревшего на меня через золотой лорнет.

– Пора! – начала старая дева, потом, заметив, что я делаю, прибавила: – Гм... вам нужно написать что-нибудь?

– Несколько заметок, – ответил я, быстро нагибаясь.

– Заметок? Не записку?

– Я не вполне понимаю вас – вероятно, это происходит вследствие того, что тут есть какая-нибудь тонкость английского языка, которая от меня ускользает.⁷

– Постараюсь объяснить вам, виконт, вполне понятным образом то, что я хотела сказать. Надеюсь, вы желаете, чтобы на вас смотрели как на джентльмена?

– Неужели вы можете в этом сомневаться, сударыня?

– Я, по крайней мере, не знаю, так ли вы поступаете, чтобы заставить себя считать джентльменом, – ответила старуха. – Вы явились ко мне в дом уж не знаю, каким путем. Полагаю, вы согласитесь, что вам следовало бы чувствовать ко мне некоторую благодарность, хотя бы за тот завтрак, которым я вас угостила, что вы для меня? Случайно встреченный молодой человек, не имеющий ничего замечательного ни в наружности, ни в манерах, с несколькими английскими кредитными билетами в кармане и с головой, которая оценена. Я приняла вас в свой дом, хотя и не вполне по доброй воле, а теперь желаю, чтобы ваше знакомство с моей семьей этим и ограничилось.

Вероятно, я вспыхнул, говоря:

– Сударыня, мои заметки не играют большой роли, и ваше желание послужит для меня законом. Вы усомнились во мне и высказали это. Я разрываю то, что написал.

Конечно, вы поверите, что я совершенно уничтожил бумажку.

– Вот теперь вы поступили как славный мальчик, – сказал мой дракон и повел меня к среднему лужку.

Там нас уже ожидали брат и сестра; насколько я мог рассмотреть их в неясном свете утра, оба они, по-видимому, за это время пережили очень много тяжелых минут. Казалось, Рональду было стыдно при тетке посмотреть мне в глаза, он представлял собою воплощенное смущение. Флора же едва успела взглянуть на меня, потому что дракон схватил ее за руку и повел через сад; кругом стояла полумгла рассвета, тетка не говорила с племянницей, Рональд и я в молчании шли за ними.

В той высокой стене, на которой я сидел накануне утром, виднелась дверь. Старуха отперла ее ключом; по другую сторону стены стоял плотный человек, простолюдин; под мышкой он держал толстую палку и обеими руками опирался на сложенные камни. Старуха сейчас же заговорила с ним.

– Сим, – сказала она, – вот тот молодой господин, о котором я говорила вам.

⁷ Note – записка; notes – заметки.

Сим ответил нечленораздельным звуком и движением руки и головы, что должно было изобразить приветствие.

– Ну, мистер Сент-Ив, – сказала старуха, – вам уж давно пора в путь. Но прежде позвольте дать вам ваши деньги. Вот четыре фунта бумажками, остальное мелочью, серебром; удержано шесть пенсов. Некоторые, кажется, берут за учет шиллинг, но я дала вам блаженную возможность думать, будто баланс меньше. Распоряжайтесь деньгами поблагодарнее.

– А вот, мистер Сент-Ив, – впервые заговорила Флора, – плед. Он пригодится вам во время тяжелого путешествия. Я надеюсь, что вы примете его от одного из ваших шотландских друзей, – прибавила она, и ее голос дрогнул.

– Настоящий остролистник, я сам срезал его, – сказал Рональд, подавая мне такую отличную дубину, лучше которой нельзя было и желать для драки.

Церемония передачи подарков и ожидание, выражавшееся во всей фигуре погонщика, – все вместе говорило мне, что я должен уйти. Я опустился на одно колено и попрощался с теткой, поцеловав ее руку. То же самое я сделал и относительно ее племянницы, но на этот раз с горячим увлечением! Что же касается Рональда, я обнял его и поцеловал с таким чувством, что он потерял способность говорить.

– Прощайте, прощайте! – сказал я. – Я никогда не забуду моих друзей! Вспоминайте когда-нибудь обо мне!

Я повернулся и пошел прочь. Едва мы с Симом отошли на несколько шагов, как я услышал, что в высокой стене закрылась дверь. Конечно, это сделала тетка, ей также хотелось на прощанье сказать мне несколько колких слов. Но если бы я даже выслушал их от нее, это не произвело бы на меня ни малейшего впечатления; я был вполне уверен, что между моими поклонниками, оставшимися в Суанстонском коттедже, старая мисс Гилькрист была одной из наиболее горячих и искренних.

Глава X

Гуртовщики

Мне приходилось делать некоторое усилие, чтобы идти рядом с моим спутником, хотя он безобразно раскачивался на ходу и с виду шел не особенно скоро, но мог по желанию передвигаться очень быстро. Мы смотрели друг на друга: я с выражением естественного любопытства, он, по-видимому, с чувством сильного неодобрения. Потом я узнал, что Сим был предубежден против меня: он видел, как я опустил на колено перед дамами, и вследствие этого признал меня идиотом.

– Итак, вы в Англию? Да? – спросил он.

Я ответил утвердительно.

– Ну, мне кажется, что дорога для нас хороша, – заметил погонщик и погрузился в молчание, которое не нарушалось в течение четверти часа; двигались мы не спеша.

Наконец мы вышли на зеленую долину, вившуюся между горами и холмами. Посередине ее текла маленькая речка, образовавшая множество чистых, прозрачных заводей. Подле одного из дальних разливов я рассмотрел косматое стадо и пастуха, казавшегося двойником Сима. Второй пастух завтракал хлебом с сыром. Завидя нас, Кэндлиш (впоследствии я узнал, что двойника Сима звали Кэндлишем) встал нам навстречу.

– Он пойдет с нами, – сказал Сим, обращаясь к товарищу, – старуха Гилькрист пожелала этого.

– Хорошо, хорошо, – ответил второй пастух; потом, вспомнив об учтивости, он с серьезной усмешкой посмотрел на меня и заметил: – Какой прекрасный день.

Я согласился с ним и осведомился о том, как он поживает.

– Славно, – послышалось в ответ.

На этом обмен любезностями прекратился; погонщики принялись сгонять скот. Это, как вообще все, что касалось управления стадом, исполнялось с помощью двух красивых, умных собак. Сим и Кэндлиш давали им только немногосложные приказания.

Мы спускались с холма по крутой зеленой тропинке, которой я сначала не заметил. Кругом раздавались крики болотных птиц, слышалось, как скот жевал и чавкал; животные ели и, по-видимому, все не могли насытиться, а потому мы продвигались вперед утомительно медленным образом. Мои спутники шли среди стада в полном молчании, которым я мог только восхищаться. Чем больше я смотрел на погонщиков, тем более меня поражало их сходство, доходившее до смешного. Оба они были одеты в грубое платье из домашней ткани, оба держали по одинаковой палке, у обоих под носом виднелись следы табака; оба несли по пледу, сделанному из материи, которая называется пастушьим тартаном. Глядя на Сима и Кэндлиша сзади, было положительно невозможно различить их одного от другого, и даже смотря им в лица, я находил между ними значительное сходство. Несколько раз старался я вызвать моих спутников на обмен мыслями, хотел, по крайней мере, заставить их произнести какие-нибудь человеческие слова, но в ответ мне слышались только «да» или «нет»; но затронутая тема замирала без звука. Я не скрою, что это опечалило меня, и когда через некоторое время Сим предложил мне табаку, лежавшего в бараньем роге, с вопросом: «Вы употребляете это?», я ответил со значительным оживлением: «Сэр, я готов был бы понюхать табаку, чтобы немного сблизиться с вами, право». Но и этой шутки не раскусили мои спутники, или, по крайней мере, она не смягчила их.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.